ГРИГОРИИ АРОНСОН

НА ЗАРЕ КРАСНОГО ТЕРРОРА

БЕРЛИН / 1929

ОТ АВТОРА.

Тюремные записи — по форме, предлагаемые вниманию читателя очерки — по содержанию своему посвящены не только описанию тюрьмы, но также изображению жизни и быта России на заре красного террора. Если в странах политического безправия тюрьма всегда — зеркало жизни, то еще резче выступает это явление в революционную эпоху. И никогда, кажется, не осуществлялось такого превращения жизни в тюрьму, и никогда тюремная решетка не символизировала в такой степени русскую жизнь, — как в минувшие годы обостренной гражданской войны. В этом — оправдание появления книги, посвященной эпохе 1918—1921 г. г. К тому же, события этих лет далеко еще не отошли в область истории. Красный террор до сих пор отбрасывает свою черную тень на всю русскую жизнь.

Наряду с очерками «На заре красного террора», публикуемыми впервые, и тюремными записками «ВЧК — Бутырки — Орловский централ», напечатанными в журнале «На чужой стороне» (1924-25 гг., Прага), — в приложении к книге даны рассказы ВЧК о себе самой, составленные на основании материалов Красной Книги, изданной ВЧК, и тотчас же по выходе конфискованной и изъятой из обращения. В этих материалах документированы некоторые драматические эпизоды эпохи 1918—19 г. г. Разумеется, эти материалы не могуть служить источником для изучения эпохи раннего террора; они только иллюстрируют деятельность ВЧК ее собственными признаниями.

На заре красного террора

(1918 г.)

I. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Как сквозь смутный сон, вспоминается переезд через немецкую оккупационную границу. Мелькают блестящие каски, презрительно вежливый, повелительный тон, пропуск через железную решетку и легкий, поверхностный обыск. И родина снова возвращена нам! Какая-то чрезвычайная железнодорожная комиссия. Отряд красногвардейцев специального назначения. Торопливый и грубый осмотр вещей, книг, документов, — и большие, неуклюжие дроги, перегруженные вещами, медленно влекутся по грязному месиву, несмотря на жаркое лето заполняющему все пространство, видное кругом.

По сторонам дороги искривленные соломенные шалаши, вокруг которых на маленьких кострах варят картофель исхудалые, бледные, давно немытые люди в отрепьях, и много детей, молчаливо и без всякого любопытства глядящих на наше шествие: это — беженцы. Это картины, которые встречаешь на всех перекрестках русских дорог, да, пожалуй, и на всех европейских перекрестках. Это — картины перепуганного человеческого рода, который под гром и молнии войны бессмысленно мятется из края в край, беспомощно ждет и безропотно умирает.

Беженцы—поляки, евреи, латыши, украинцы,—их никто не заставлял пускаться в опасный и неопреде-

ленный путь; они добровольно с детьми и скудными пожитками пытались бежать из огня гражданской войны, туда, где им мерещилась обетованная земля, — и дни, недели и месяцы сидели и гибли в грязном месиве у пограничной черты в ожидании подвижного состава,—теплушек, которые должны же когда-нибудь быть поданы и которые должны вернуть им утраченный кров.

Как сквозь смутный сон, я вспоминаю маленький еврейский городок, грязные улицы, покосившиеся дома, согбенные фигуры с заискивающими лицами, ощупывающие глазами и вас, и ваши вещи и без слов спрашивающие: «есть что продать?» или «хотите купить?».

Наконец, долгие переговоры с комендантом станции, — первым встреченным мною большевистским комиссаром, — о билете в Москву, и я уже в поезде.

Что представляет собою эта вечная загадка, эта страна неограниченных возможностей? Наладилась ли в ней жизнь после Брестского мира, после демобилизации армии, после разрыва с бунтарями—анархистами? Началась ли полоса устроения? И большевики, властители современной России, за девять месяцев своего господства, — не стали ли они другими? Не переделала ли их русская жизнь на свой лад, сметая и сглаживая их строптивость, опьянение и озорство?

В немецкой оккупации, где я провел почти полгода, мы не получали регулярно русских газет, почти свободно выходивших еще тогда в России; по отрывочным сведениям, мы, хотевшие быть объективными, затруднялись рисовать себе русскую жизнь. Немецкая пресса, живо интересовавшаяся Россией, своей информацией мало говорила нашему сердцу, а в обстановке оккупации, когда тяжелый немецкий сапог кайзеровской армии жестоко наступал на русскую деревню и подавлял в городе самые скудные прояв-

ления революционного духа, разгонял земства и городские самоуправления, гнал в подполье социалистические партии и профессиональные союзы, фактически лишая рабочих права на самозащиту, — в этой обстановке естественно созревала атмосфера сочувствия к большевикам, засевшим в России, — там, где еще пылало священное пламя революции. Ориентация на революцию, ориентация на Россию для всего края, задушенного оккупационным режимом, усиливала в массах и передавала одиночкам большевистские иллюзии. И , каюсь, не без глупых и наивных надежд на «выпрямление линии октябрьской революции» возвращался я из оккупации в Москву.

В Москве этого времени была призрачная и фантастическая жизнь. Еще не оправились от впечатления похабного мира, который съузил в три раза зону революции. Остряки говорили, что скоро сфера власти Кремля ограничится кольцевым трамваем А, совершающим свой рейс вокруг Кремля. Еще население не оправилось от звуков канонады, которой сопровождалось недавнее освобождение от анархистов захваченных ими домов. Я помню на вокзале, сейчас же по приезде, то средство успокоения шумной и беспорядочной толпы, которое применил догадливый комиссар: стоя посреди толпы на платформе, он просто выстрелил в воздух.

Но наряду с этим кое-где гудели гудки, и дымили фабричные трубы; безбоязненно торговали в лавках и на рынках; с усилиями пролезая сквозь тонкое ушко цензуры, выходили газеты разных партий и направлений. Меньшевики и Бунд существовали почти легально, но эсерам приходилось уходить в подполье. Я был на всероссийском съезде еврейских общин, на котором наряду с немногими социалистами, было много почтенных либеральных фигур, как ни в чем не бывало ровно и смиренно делавших свое дело, т. е., не взирая на Чеку, вырабатывавших планы, проэкты, программы, цену которым они сами

превосходно знали. Мне не удалось попасть на 6-ой съезд советов, происходивший тогда в Москве. Мандат, привезенный мною из оккупации от профессиональных союзов, если и не мог обеспечить мне совещательный голос, то все же мог мне дать право на гостевой билет. Но секретарь ВЦИК'а спросил о моей партийной принадлежности, — и в билете отказал.

Между тем это были шумные дни восстания левых эсеров, убийства графа Мирбаха. Москва, отдыхавшая от недавних кошмаров, опять оказалась во власти чуждых сил, которые стреляли из пулеметов и пушек. Возвращаясь с заседания, где нас застигло известие о покушении на Мирбаха, я видел перед собой мертвые, пустынные улицы, изредка оглашавшиеся диким ревом обезумевшего грузовика, наполненного гвардейцами и матросами, — и опять пустынные, мертвые улицы, молчаливые, ушедшие в себя дома, — и только Денежный переулок, где дом немецкого посольства, был весь в тревоге, в суете, в движении автомобилей, мотоциклеток и верховых. А за событиями на съезде советов, после ареста громадной части съезда, связанной с левыми эсерами, когда еще было неясно, не выступит ли Германия в поход — отомстить за убитого посла и не удастся ли таким образом срыв Брестского мира, — начались новые события: вспыхнуло Ярославское восстание и открылась первая страница чехо-словацкого движения.

Что сделали большевики? Они первым делом окончательно прекратили русскую прессу. Все газеты, без исключения, были закрыты, слева направо и оправа налево. Началось царство стекловских монополий.

Надо сказать, что к этому времени значительно ослабели связи большевиков в рабочей среде. Это было время явного изживания большевистских иллюзий: режим Зиновьева в Петербурге, режим Дзержинского и Петерса в Москве содействовали этому процессу. Впервые со времени демонстраций и за-

бастовок протеста против разгона Учредительного Собрания, среди столичных рабочих назрела активность, потребность самостоятельно сказать свое слово. В Петербурге, в Москве, при помощи меньшевиков и эсеров, возрождались институты уполномоченных от рабочих на фабриках и заводах, возобновлялись собрания уполномоченных. В Москве, по инициативе тех же партий с участием отдельных профессиональных союзов (печатников, железнодорожников), возник организационный комитет по созыву Всероссийской конференции уполномоченных от фабрик и заводов, чтобы оформить движение, перекинувшееся из столиц в провинциальные промышленные центры и формулировать его программу.

Я получил телеграмму из Витебска, с которым был связан годами общественной работы. Мне надо было туда ехать, чтобы рассказать о жизни в оккупации, чтобы дать отчет о своем участии в том съезде еврейских общин, мандат на который я получил от Витебска. А, кстати, в качестве представителя упомянутого Организационного Комитета я помогу товарищам созвать губернское собрание уполномоченных от местных фабрик и заводов. Что произошло в Витебске, как мы там организовывали рабочих при попустительстве большевиков, как мы попали в чеку и в тюрьму и что пришлось пережить на заре красного террора и в разгаре его, — об этом будет рассказано в следующих главах.

*

II. НАШЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Время действия—жаркие июльские дни 1918 года. Место действия — губернский город западной окраины с 130-ти тысячным населением. Что сказать о русской городской провинции первого года социалистической эры? Большевистский суд ликвидировал последних, только что изловленных, провокаторов. Комиссар финансов взыскивал революционный налог,

первоначальная сумма которого, путем соответствующей мзды, понижалась на 50 и даже на 95%. Социальная политика выражалась в том, что домовладельцев (такие еще тогда существовали!) заставляли ремонтировать свои дома, предоставляя таким образом работу безработным плотникам, столярам, малярам.

Жизнь замирала рано. Военные дозоры по вечерам занимались проверкой документов. В домах производились постоянные обыски, искали денег (больше тысячи рублей не разрешалось никому иметь при себе), драгоценностей, товаров, продовольствия и реквизировали все, что плохо лежало, что попадалось под руку. Это был период, когда аппарат чеки начинал впервые чувствовать под собой твердую почву, когда он, под видом «комбедов» уже готовился дать бой «кулакам» в русской деревне и уже обрастал своей опричниной, специфическими отрядами особого назначения, в городе.

В Витебске для чеки было много работы: то мобилизация буржуев, схваченных по домам и на улицах на принудительные тяжелые работы (от которых буржуи откупались взятками), то пополнение тюрем и арестных домов буржуями, которые еще не столковались с комиссаром финансов насчет уплаты налога и для размышления посажены под стражу. Еще беспокоили чеку настроения рабочих, которые в Витебске в массе находились под влиянием меньшевистско-эсеровского блока.

Совершенно непонятным образом здесь сохранился маленький островок демократической общественности, Комитет по борьбе с безработицей, избираемый профессиональными союзами и возглавляемый меньшевиками и эсерами. Он впоследствии вырос в большую организацию, охватившую до 14 крупных предприятий и тысячи рабочих, и ставшую активным соперником Губсовнархозу. Вот этот Комитет, бывший подспорьем меньшевиков и эсеров, и поддерживал антибольшевистские настроения в рабочей

среде. К тому же он предоставлял помещение под Биржу Труда, под Совет профсоюзов, под клуб имени Карла Маркса.

Я уже несколько дней в Витебске. Прочел публичную лекцию о том, как живут в местах немецкой оккупации и удостоился лестного отзыва в оффициозной печати: «хоть и социал-предатель, но объективно рассказал». А я старался посильно показать, что немцы-завоеватели ничуть не лучше большевиков: так же мобилизуют на принудительные работы и ловят народ на улицах, так же разгоняют городские думы и земства, так же закрывают органы печати, так же произвольно арестовывают и вообще всячески плюют на демократию и другие буржуазные предрассудки.

Моя задача, связанная с конференцией уполномоченных от фабрик и заводов, обреталась в самых благоприятных условиях. Товарищи сочувствовали идее созыва губернской конференции, и кое-что в этом направлении было сделано. Когда вечером, помню, в полумраке — не горело электричество — я делал доклад от имени Организованного Комитета, — мои предложения и наказ были встречены очень сочувственно. Да, пора рабочему классу свое собственное слово сказать и активно вмешаться! Так говорили не только партийные, но и рядовые рабочие.

Но интересней всего была позиция большевиков, присутствовавших на заседании Совета профсоюзов. Одни из них молчали, другие говорили против, и все голосовали против наказа. Но выступить прямо против созыва конференции, сказать, что рабочий класс не смеет собираться для того, чтобы формулировать свою программу, — на это большевики не решились. Нам было ясно, что среди местных властителей царит растерянность. Было ясно, что, если не сейчас, то скоро они спохватятся и оборвут это сантиментальное миндальничание. Но пока все благоприятствовало легальному созыву губернской конференции уполномоченных.

Совет профессиональных союзов разослал по губернии телеграммы с предложением прислать делегатов на конференцию уполномоченных, и никто из начальства не ставил препятствий рассылке этих телеграмм. Оффициальный орган большевиков несколько дней подряд печатал объявление о предстоящей конференции уполномоченных. Лучшее помещение в городе, городской театр, было отведено жилищным отделом исполкома под занятия конференции.

Наступил день, когда она должна была открыться. С утра в совет профессиональных союзов стали съезжаться делегаты из провинции и местные уполномоченные, — число их уже перевалило за триста. Но в это время большевики опомнились, и чека принялась за работу. К 5 часам вечера театр был занят отрядами войск, приходившим уполномоченным было заявлено: «конференция запрещена», был составлен проскрипционный список лиц, подлежащих аресту.

Несколько комический оттенок имела история моего ареста. По пути в городской театр, я зашел к своему дяде и однофамильцу выпить чаю, а кстати и повидаться с ним, так как его только что выпустили из тюрьмы по делу о революционном налоге. Но не успел я пробыть там и 15 минут, как явился чиновник из милиции и спросил:

— Здесь живет гражданин А.?

— Здесь.

— Комиссар милиции приказал явиться немедленно.

Мой дядя, окруженный взволнованной семьей, решил пойти и предусмотрительно стал переодеваться в старое платье и поношенную обувь.

Я подумал про себя, — не находится ли это в связи с нашей конференцией и не имеет ли в виду начальство меня, грешного?

Вместе с тетушкой, взявшей под руку мужа, я тоже направился в милицию, под экскортом милицей-

ского. По дороге, проходя мимо клуба Бунда, я встретил экспансивную товарку, которая мне рассказала, что конференция не допущена и театр окружен войсками и закончила:

— А мы за вас беспокоились, думали, что вы арестованы.

— Нет, пока я еще не арестован, — отвечал я с уверенностью.

И мы шли дальше. Уже в зоне театра, который лежал на пути в участок, я встретил двух товарищей, которые тоже обрадовались мне; на всякий случай я опорожнил свои карманы, вручил все резолюции, наказы и т. п. одному из них и погнал его прочь; другой товарищ решил пойти вместе со мной. Он чувствовал себя в городе Витебске persona grata. Он пользовался влиянием даже среди большевиков, и в Совете рабочих депутатов его язвительные речи находили поклонников и среди властей. Он все разъяснит. Так мы и явились в милицию: я, мой дядя и товарищ, — Б. Х. Комиссар милиции нас тотчас же принял. Оглядев нас, он спросил:

— Кто из вас — гражданин А.?

— Я, — ответили дядя и я.

Комиссар развел руками и сообщил, что председатель чека поручил ему арестовать гражданина А., но имя и отчество ему неизвестно.

— Придется позвонить председателю.

И он по телефону рапортует: — Явились два А. Кого из них арестовать?

Но он не может дать о нас никаких сведений и обращается к нам с вопросом:

— Кто вы такой?

— Купец, — отвечает дядя.

— Меньшевик, — отвечаю я.

— Ну, купец может итти, нам нужен меньшевик.

Удрученное лицо тетушки с тоской остановилось на мне, но я посоветовел им скорей возвращаться домой и в этом злачном месте ни лишней минуты не оставаться.

Тут наступила очередь моего товарища, Б. Х. Он — человек очень остроумный, но в данном случае, он не был на должной высоте.

— Позвольте мне позвонить по телефону председателю совета рабочих депутатов — обратился он к комиссару. — Я сейчас же разъясню это недоразумение.

— Нет, частным лицам по служебному телефону звонить воспрещается, — отрезал комиссар.

— Но я не частное лицо, — вскипел Б. Х., — как член совета рабочих депутатов, я требую разрешения позвонить к председателю, — и выбросил из кармана свой депутатский билет.

С трудом разобрав имя, отчество и фамилию члена Совета, — комиссар обрадовался и торжественно сказал Б. Х.:

— Вас то нам и надо...

Спустя несколько минут в сопровождении солдата мы были отправлены в чеку. Не могу не вспомнить, какие это были наивные времена! Нас двоих сопровождал один солдат. Когда мы увидели трамвай, солдат крикнул нам, чтобы мы туда вскочили, а сам побежал вперед на большое расстояние от нас. А нам и в голову не пришло убежать и скрыться.

Я помню еще один эпизод во время этой трамвайной езды. Б. Х. увидел шедшего по улице председателя местного Совдепа и крикнул ему:

— Мы оба арестованы, добейтесь нашего освобождения.

Председатель Совдепа крикнул в ответ:

— Я иду в чеку вас выручать.

Не думали мы тогда, что не дни, не недели, а долгие месяцы нам придется провести под гостеприимным кровом большевистской тюрьмы.

III. ГУБЧЕКА.

Под Чеку была отведена лучшая гостинница в городе, но для вящей безопасности Чека прихватила еще несколько домов по обе стороны гостинницы. Большой район охранялся, как вооруженный лагерь, оцепленный солдатами, и прохожий пугливо переходил на другую сторону улицы подальше от греха. По лестнице, на самый верх, нас повели после совершения обряда передачи в Чека. Потом мы долго крутились по каким то узким и длинным корридорам и на самой вышке здания, между выходами на чердак и уборными с другой, мы нашли приют в маленькой, тесной комнатке.

Такие комнатки в гостинницах служат обычно для бодрствующей по ночам прислуги, всегда готовой явиться на требовательный звонок беспокойного гостя. И, действительно, никаких признаков постели, дивана, или койки не было в камере Чека. Да, пожалуй, это к лучшему. Кругом было так много вшей, что казалось совершенным безумием лечь спать в этой комнате. Меблировка состояла из стула с продавленным сидением, мягкого кресла, грязного и вшивого. некрашеного стола, и широкого подоконника, на котором можно было сидеть и, пожалуй, лежать. Дверь камеры не закрывалась. Напротив нее в корридоре, на большом кованом сундуке лежал грязный, сплющенный матрац (вероятно, первоисточник многочисленных вшей), на котором возлежали наши стражи — два солдата с винтовками.

Высшего начальства кругом не было видно; только на мгновение явился какой то юный чекист и чрезвычайно грубо потребовал наши документы. Когда стемнело, и мы перестали надеяться на освобождение или на отправку в тюрьму, перспектива остаться здесь на ночь заставила нас послать солдата за начальством. Явился разводящий и сказал, что вся Чека разошлась, что коменданта нет, — «а если бы он

2

и был», добавил он, «так что же за разговор с этим головорезом? Он только расстреливать умеет».

Окна нельзя было раскрывать. Было мучительно душно в эту бессонную ночь. Я переходил с места на место, со стула на подоконник и на стол; больше всего меня соблазняло мягкое кресло, и я с трудом преодолевал этот соблазн. Б. Х. уже не владел собой: желание спать даже парализовало его насмешливый ум, и в тот момент, когда я прикурнул на подоконнике, он лег на матрац рядышком с солдатом и уснул сладчайшим, богатырским сном.

В тусклом свете керосиновой лампочки я вел беседы с нашей стражей. Старший, высокий, коренастый малый — латыш, плохо говорящий по русски, особенно возмущался тем, что с него на днях взяли полтора рубля, что он не хотел давать денег, но часть его заставила. В доказательство он вынул из кармана красную бумажную квитанцию, которая оказалась ничем иным, как членским билетом Р. К. П. Бедняга, — он даже не знал что его облагодетельствовали, приняв в большевистскую церковь и с горечью говорил о том, что рад бы оставить Россию, если бы немцы не сидели так прочно на его родине.

Когда латыш сменил своего товарища на матраце рядом со сладко спавшим Б. Х., ко мне подошел другой солдат — худой, зеленый подросток-еврей. Разглядев его, я невольно спросил:

— Каким образом в красную гвардию нанялся еврей? Разве он не мог заниматься своим ремеслом или торговать или, может быть, он большевик?

— Нет, какое там!

И он рассказал мне горькую повесть о бедной рабочей семье, в которой старик извозчик лишился лошади, два старших сына убиты на войне а он, чтобы прокормить своих стариков, должен был пойти на службу к этой банде: за тысячу рублей в месяц и два фунта хлеба в день.

На следующий день привели в Чека к нам третьего товарища, А. Д. Т. Он тоже видная персона в

Витебске. В революционном прошлом он председатель совета солдатских депутатов и сейчас, председатель того комитета по борьбе с безработицей, о котором я выше сообщил. А. Т., как всегда, спокойный и ровный, с усмешкой рассказывал, как его заманили в ловушку. Ему позвонили, что Исполком приглашает его на заседание по поводу нашего ареста. Он пошел туда и по дороге был перехвачен Чекой. Мы очень обрадовались тов. Т. А с его появлением уже возникли у нас связи с внешним миром. На далеком пустыре, видном из окна замаячила знакомая женская шапочка, и мы издали дружески раскланивались.

Тетушка принесла мне обед и подушку. Я первое принял, а подушку отклонил, опасаясь загрязнения. Но чем больше мы сидели, тем немыслимей казалось нам освобождение, тем острее нам хотелось одного: в тюрьму. И мы дождались своего. Вечером, в сумерки мы двое (А. Т. был оставлен в Чеке) шли по улице под конвоем с шашками наголо, вызывая смятение прохожих и удивленные взоры. Я подбадривал Б. Х., требуя чтобы он шел бодрым, размеренным шагом, в такт солдатским сапогам.

Была уже темная ночь, когда мы подошли к тюрьме, находившейся на окраине города. После года революции чем то призрачным повеяло на меня от этого большого, казенного здания в белую краску, за высокой оградой сейчас уже спящего своим тяжелым тюремным сном. В полуосвещенной каморке, где конвоиры сдавали бумагу из Чека и нас в приложении к ней, нас встретили формально. Но как только конвоиры ушли, явное удивление отразилось на лице тюремщика.

— Я был при вас членом Совета рабочих депутатов, — сказал он мне с улыбкой. — Ну, вас то скоро выпустят, это недоразумение, разве будут они вас держать в тюрьме?

И, вздыхая и охая о тяжелых и причудливых временах, он передал нас дежурному надзирателю.

Сознаюсь, я успел на обороте бумаги, присланной из Чека, заметить формулировку нашего обвинения. Тогда, на заре красного террора, оно звучало чудовищно и бессмысленно: контр-революционный заговор.

Нас подвергли тщательному обыску, забрали деньги, ножницы, часы и повели дальше. Проходя по двору, оглядывая унылый и грязный вид тюремных помещений, я внезапно вспомнил упреки одного бундовца-каторжанина, который провел в этой тюрьме десять дней после январьской демонстрации по поводу разгона Учредительного Собрания, и который писал нам на волю с укоризной, что в 17-ом году мы совсем позабыли о тюрьме, не предвидели, что нам придется опять в ней сидеть, что тюрьма без присмотра и без ремонта приходит в ветхость и не может служить приличным кровом для политических узников.

Передаваемые с рук на руки, мы, наконец, подошли к карантину, где по тюремным условиям надо было провести десять дней. Открыли тяжеловесный замок, отодвинули железный засов. Мы вошли и очутились в глубоком мраке, услышав за спиной движение засова и ключа. А в этом мраке мы почувствовали такую острую, удушливую вонь, от которой непривычного человека привело бы в ужас. Но мы поняли, что это парашка и, обходя зловонное место, пошли ощупью дальше. Повидимому, я что-то громко сказал или просто выругался, потому что мой голос был узнан, и с широких общих нар молодой голос назвал меня. Кое-как удалось зажечь керосиновую лампочку и обозреть позиции.

На нарах, вместительностью в 8—10 человек, лежало 21, а некоторые запоздавшие лежали под нарами; это была большей частью публика, привычная к тюрьме: воры и другие уголовные. В карантине было принято обкрадывать друг друга — обычай, который строго преследовался товарищеским уставом тюрьмы вне карантина. На ночь полагалось обувь и

верхнюю одежду связывать в узел и класть под голову. Мой знакомый оказался 18-тилетним эсером, арестованным несколько дней тому назад, кажется, за вмешательство в какой то уличный скандал, вызванный Чекой. Мы все были рады друг другу, легли рядышком, тесно прижавшись и наскоро делясь сообщениями. Было душно; парашка издавала нестерпимое зловоние, людские испарения и пот били в нос и в рот. Но измученный пережитым, я быстро и безмятежно заснул на тоненькой жердочке, на самом краю нар, лежа самым странным образом и почему то не падая.

IV. В ТЮРЬМЕ.

Прошел день - другой. Прибыл из Чеки А. Т., и мы в досрочном порядке были переведены из карантина в общую камеру, отведенную специально для нас; но за переполнением тюрьмы в нашу камеру подкинули под видом «политических» еще несколько человек. С утра шла мойка и чистка пола, стен и особенно нар, которые мы мыли с помощью мыла и горячей воды. Особенно усердствовали, даже выталкивая нас из работы, наши новые сожители, матрос и левый эсер. Матрос бывший участник кронштадтского движения в 1917 году, был арестован у себя в деревне за самовольную отлучку, а кстати и, как «вредный элемент» в деревне (кулак). Левый эсер был еврей, портняжка, который чинил платье всему начальству, а впоследствии заштопывал и наши дыры и, собственно говоря, имел приговор по суду на один год за воровство, но он тщательно скрывал это компрометтирующее обстоятельство и в этом ему все помогали, — выдавая себя за политического, за левого эсера, которые были все еще в моде в эти июльские дни.

Впервые, после нескольких томительных дней и ночей, в грязи и нечистотах, хорошо было вечером ле-

жать на мешке, набитом свежей соломой, отдаваясь элементарному чувству радости жизни, следить, как падают последие закатные лучи на тюремную ограду, на тюремный двор под нашими решетчатыми окнами. Человек десять, которые собрались в нашей камере, сжились довольно дружно и, как водится в тюрьме, спелись в буквальном смысле слова довольно быстро между собой. По целым вечерам, после поверки, хор нашей камеры оглашал тюремный дворик. Матрос пел крестьянские и морские песни, Б. Х. оказался специалистом на еврейские мотивы, а молодой человек, приказчик из музыкантской команды, исполнял, если без искусства, то с большим энтузиазмом антибольшевистские шансонетки и частушки. При этом он пользовался руками, ногами, губами и щеками в качестве различных инструментов. Только один старенький, старенький помещик (по имени которого назывался целый поселок близ Витебска) с недоумением оглядывал наше жизнерадостное общество. Он был арестован в качестве буржуя, врага советской власти, хотя еле мог передвигать ноги, а беззубым ртом шамкал неведомо что. Это было эпизодическое лицо в нашей камере. Он ждал выписки кого-нибудь из больницы для того, чтобы занять вакантное место.

Из прочих персонажей я помню плотного, низкорослого частного поверенного из соседнего уездного города, которого большевики обвиняли в том, что он выдавал немцам советских работников, между тем, как еще недавно, в родном городе, его обвиняли в том, что он укрывал большевиков, — да еще юного офицерика, сидевшего за «липовые» документы. Но в центре нашего общежития была наша маленькая сплоченная социалистическая колония, к которой к концу месяца прибавился еще один член товарищ К., неутомимый митингер, посаженный к нам за выступления по поводу нашего ареста.

День начинался рано. В шесть часов была поверка, но мы не возражали. Каким удовольствием было

подняться, помыться холодной водой и, воспользовавшись мешкотностью старого, ворчливого надзирателя, пробежаться несколько раз, против правил, по тюремному кругу. Уборные были загрязнены, но тщательно поливались известкой и карболкой, и после их посещения долго нельзя было отделаться от тягучих несносных запахов. Двор был довольно обширный, хотя нам за пределы небольшого круга воспрещалось ходить, и мы, регулярно расширяя свои знакомства с кухонными и больничными арестантами, солдатским шагом, бегом, совершали ежедневные прогулки. Обычно мы напевали в это время антибольшевистский марш, и моим спутником часто бывал живший в больнице политический, шестидесятисемилетний врач — генерал.

День быстро проходил, разнообразясь гимнастикой, чтением и занятиями, к которым кое кто из нас уже приступил. Но гвоздем дня бывали передачи: обеды, цветы, книги и газеты. Наши близкие и друзья самым широким образом заботились о нас. Социалистические партии, клубы, профессиональные союзы выпустили подписные листы, и на фабриках и заводах и в учреждениях призыв на помощь политическим вызывал большое сочувствие. Официальные свидания раз в неделю, а неофициальные бесконечное количество раз, увенчивали наше мирное житие в коммунистической тюрьме.

А кругом шла обычная, тяжкая тюремная жизнь: «цвет русского народа», молодежь в избытке сил и страстей, как всегда, составляла основное ядро населения тюрьмы. Мы слабо соприкасались с тюрьмой, нас старательно изолировали от нее, за исключением соседней камеры, где ютилась группа офицеров, и за вычетом нескольких политических (бывших членов Союза русского народа). Наше общение ограничивалось исключительно случайными встречами. Иногда нас приглашали в контору писать прошения отдельным заключенным, в судьбе которых начальство, повидимому, принимало участие. Аре-

станты были большей частью, воры, фальшивомонетчики, самогонщики—немного горожан и большинство крестьян, неграмотных и не сознающих смысла совершенного. Попадались убийцы и участники рискованных, отчаянно-смелых ограблений, никогда не сознающиеся в преступлениях вопреки всем уликам, дерзающие, стойкие, упрямые характеры.

В тюрьме уже были расстрелы. Ночью увезли двух братьев, сидевших в одной камере, и их мать семидесятилетнюю старушку, совершивших вместе убийство и ограбление семьи. Смертники сидели обычно в строгих одиночках, но были и такие кандидаты на тот свет, которых почему то пускали на кухню, на разные тяжелые работы, и они со шляпой набекрень, с беспечностью уличных ловеласов, бродили по тюрьме, балагурили и пользовались большим авторитетом.

Это были, конечно, трещины в тюремном режиме, и в эти годы, когда колебалась вся русская земля, неудивительно, если подвергался колебанию и тюремный режим. Это началось не при большевиках, задолго до них. В том же Витебске я помню, в начале марта 17-го года произошел такой трагикомический инцидент. Когда освободили политических из тюрем, заволновались и уголовные и угрожали устроить бунт, если их не будут освобождать. Тогда местный Комитет общественного спасения (в каждом городе был такой комитет) и Совет рабочих депутатов послали своих делегатов в тюрьму, чтобы успокоить уголовных. Делегаты прибыли, обошли камеры, произносили речи, все как полагается. Но в одной камере, где говорил представитель Совета Рабочих Депутатов и говорил, повидимому, очень горячо, объявляя «начало новой жизни» и возвещая «зарю освобождения», — он наткнулся на «Иванов», которые не поддались на удочку, заперли дверь и заявили ему: — «Либо освобождай всех, либо, хочешь — не хочешь, оставайся вместе с нами». Бедняга пошел на попятную, обещал все, что угодно,

клялся всеми святыми и с трудом сам «освободился» из тюрьмы. В результате, конечно, усилилось разложение тюрьмы, 47 уголовных бежало, настоящие, матерые преступники скрылись навсегда, а шпана, состоящая из случайных людей, после нескольких дней голода и бесприютности, сама попросилась... обратно в тюрьму.

С 17 года до сих пор тюремный режим не мог войти в колею. Большевики не переменили начальства. И наверху и внизу оно осталось прежним, каким было при Временном Правительстве, каким было при царе. И, если революция 17 года сбила с толку этих темных, неразвитых людей, то большевистский режим своей жестокостью и неразборчивостью в средствах только усилил это смятение в умах, все больше нивелируя тюремщиков и превращая их в бездушных исполнителей любых распоряжений. Иногда, казалось, что пред нами не люди, а тени бывших когда то людей, — такая печать безжизненности, придавленности, недоумения лежала на них. Я говорил уже о бывшем члене совета рабочих депутатов (который, кстати сказать, был исключен из Совета, так как по конституции тюремная администрация в Совет не допускалась), сохранившем благодарную память о первых днях революции, впервые призвавшей его к политической жизни и полном пиетета к нам и готовности к услугам. Обильное продовольствие, доставлявшееся нам с воли, служило нам единственным способом привлечения симпатий, как среди бедствовавших многосемейных надзирателей, так и вечно голодных арестантов. С одним старым тюремщиком, уже тридцать пять лет служившим в этой должности и в этой же тюрьме, у нас завязалась дружба. Он стал приводить с собой из дому младшего сына, ребенка пяти лет, которого мы угощали белым хлебом и конфетами. Сложнее складывались отношения с высшим начальством тюрьмы. Новые помощники, лишь отдаленно знавшие нас, держались в стороне и просто боялись скомпрометировать себя

разговором с нами. Но и из них некоторые подходили к решетке нашего открытого окна, часов в 11 вечера, во время ночного обхода (наша камера помещалась в одноэтажном, низком каменном тюремном флигеле во дворе) и спрашивали:

— Что то будет? Неужели они (т. е. большевики) будут дальше безнаказанно царствовать?—и рассказывали кое какие скудные городские сплетни.

Начальник тюрьмы знал нас и встречал в разных заседаниях и совещаниях в революцию 17 года при губернском комиссаре Временного Правительства. Предупредительно вежливый, он хотел быть формалистом в отношениях с нами, но это ему не удавалось. Вероятно, он так ненавидел большевиков, что готов был оказать нам тысячу услуг. И, действительно, он своей властью и с некоторым риском заменил свидания через двойную частую проволочную сетку личными свиданиями. Причем, в комнату свиданий обычно впускалось к нам, пятерым, бесконечное количество лиц. Часто тюремщики и не присутствовали при свидании, и только в воротах выпускали по счету, чтобы лишнего не выпустить. Помимо наших близких, к нам на свидание ходили члены комитетов Бунда и меньшевиков и представители рабочих организаций, для того, чтобы выразить нам сочувствие. Ясно, что благодаря этим свиданиям наше общение с внешним миром было самым полным и частым. И был среди приходящих к нам на свидание один товарищ - бундовец, бывший каторжанин, который за десятидневное сиденье в тюрьме в январе 1918 года успел завоевать все начальство сверху до низу. Он получил свидание вне времени и срока и приводил с собой кого хотел. Мы понимали, что такое попустительство начальника тюрьмы происходит против желания Чеки. Мы считали себя морально обязанными быть щепетильно-добросовестными, по возможности, в своем поведении. Когда, после трехнедельного сидения в тюрьме, в виду нароставшего настроения в рабочей среде, мы вынуждены были

выпустить из тюрьмы обращение к рабочим и текст его передали товарищам на свидании, мы сообщили об этом начальнику тюрьмы:

— Вы можете наложить на нас всякое взыскание, если только это смягчит те неприятности, которые выпадут от Чеки на вашу долю.

V. НАШИ СПУТНИКИ.

Гуляли мы два раза в день. Рано утром, часов в 8 после чая, и вечером до поверки. Всего минут 40. Нашими спутниками во время прогулок по кругу были обычно: 67-летний военный врач-генерал Ф. И. Григорович, местный судья Б. А. Бяланицкий-Бируля и бывший земский начальник Полонский. Помимо нас это была единственная группа политических заключенных в тюрьме. Бывшие члены разных правых монархических партий, они в революцию 1917 года вступили уже с новой окраской в качестве деятелей «Союза белоруссов», хотя Витебская губерния территориально и этнографически мало имела общего с Белоруссией. Когда однажды утром, выйдя из больницы, они увидели нас, деятелей мартовской революции, за решеткой, судья воскликнул с усмешкой:

— Так и надо! вас бы я давно запрятал в кутузку. Знайте, когда мы будем у власти, мы возьмем пример с большевиков и крепко засадим вас...

Отсюда и пошла наша дружба — товарищей по несчастью. Мы были люди совсем разные и нас влекло друг к другу любопытство, взаимный интерес, желание узнать и понять другую и чуждую планету. Мы кружим краткие минуты прогулки по двору, беседуем, болтаем. Они с тревогой рассказывают о своем «деле», беспокойно спрашивая нашего мнения. Из наших уст — людей, по их мнению близких к большевикам, они хотят предвосхитить свой приговор.

Судья был сдержаннее и спокойнее других. Военный врач, бодрясь, впадал в истерическую болтливость; земский начальник был тревожен, худел и бледнел на наших глазах.

Я знал судью и до революции. Это был несомненно колоритный человек; ладно скроен и крепко сшит. По местной провинциальной оценке, даже недюжинный человек. В дореволюционной, цензовой городской думе он выделялся не только деловитостью, но и самостоятельностью суждений. Как судью, его хвалили за справедливость и бессеребренность, даже евреи, несмотря на его открытую принадлежность к антисемитам. Революция его обезвредила. Прошли те времена, когда он надеялся на поражение «революционной гидры». Еще в 1916 году, попав на Всероссийский съезд Союза городов в Москву, он, единственный из всего числа делегатов, выступал и голосовал против единогласно принятых там резолюций о внутренней политике и национальном вопросе. Но в сущности он никогда не был вульгарным «жидоедом» и под реакционной маской сохранял человеческий облик. В 1917 году, когда нам пришлось встретиться в Думе всеобщего избирательного права, куда он прошел по списку упомянутого союза белоруссов, и на московском Государственном Совещании, куда зачем-то допустили претендовавших на то «белоруссов» из Витебска, он в сущности уже потерял обличие правого и казался обычным буржуа, «кадетом» (как тогда говорили), эпатированным революцией и растерявшим свой багаж. Быть может, тут действовал естественный инстинкт приспособления, быть может, шквал революционной стихии стал обрабатывать самые непримиримые индивидуальности. Он не возмущался, он не проклинал. Здесь в тюрьме он был глубоко пессимистически настроен и говорил об отпадении окраин, о низбежном распаде России и неминуемом конце земли русской. В форменном сюртучке, с седеющей растительностью на круглом и умном черепе, с желтизной на лице, он

запечатлен в моей памяти во время прогулок на тюремном дворе, — волоча больные ноги в туфлях.

Другой политический правый, старик доктор, обвинялся в принадлежности и сочувствии Белорусской Раде, — однако, он не имел никакого представления о том, что такое в сущности эта Рада. И, мне, прибывшему из немецкой оккупации, пришлось рассказать ему про славную эволюцию этой Рады: как она в начале, еще в 1917 году, делала оппозицию Временному Правительству и строила глазки большевикам, как потом она оказалась орудием в руках ничтожных интеллигентских национал-социалистических групиок, как, наконец, в один прекрасный день, во главе Рады вместо белорусских эсеров оказались белорусско-польские кадеты, которые из оккупированной Белоруссии верноподданически припали к стопам Вильгельма II-го, кляня и царя, и Керенского, и Ленина, — всех свалив в одну кучу. Обо всем этом он узнал от меня, соображая, что его «подозриют» (как говорили у нас уголовные) в принадлежности к Раде последнего немецко-кайзеровского фазиса. Старик слабо разбирался в политике. Нет сомнений, что большевиков и нас, — большевистских пленников, — он искренне смешивал, и наш арест вызывал у него, как и у тюремных надзирателей, полное недоумение. Высокий, благообразный, с длинной седой бородой и порыжевшими от табаку усами, в фуражке с красным околышем, он был поистине случайный человек в той политической роли, которую ему навязала судьба. Он был председателем дореволюционной Городской Думы, — никто не знал почему. Когда во время войны граф Бобринский стал объединять Восточную Галицию, как искони русскую провинцию с Москвой,—Григорович стал ярым пропагандистом русско-славянского единения. Его никто не понимал, и все открыто смеялись. Он был недурной врач, пользовавшийся доверием бедноты, преимущественно еврейской, которой льстило, что доктор военный и притом полный генерал. Правда, го-

ворили и о взятках, но о ком из чиновников окраинной России не говорили в этом роде и кто может проверить, какая доля истины в этих разговорах?

Третий, Полонский, был молодой человек с военной выправкой и несомненными административными способностями. Он говорил, что в земские начальники попал из либеральных побуждений:

— Мы, земские начальники, в сущности, осуществляли культурную миссию самодержавия в деревне.

Он был арестован в качестве председателя епархиального съезда и обвинялся в организации прихожан против отделения церкви от государства.

* * *

Их расстреляли в ночь, в разгар красного террора, когда большевики залили кровью всю страну, когда после покушения на Ленина и убийства Урицкого были убиты тысячи и десятки тысяч людей. В эту ночь были расстреляны вместе с этими тремя еще восемь человек, в том числе Бочкарева, известная тем, что еще в эпоху Керенского организовала женский батальон. Их взяли ночью и они не знали, куда их берут. Но по пути в автомобиле им стало ясно все. И всю дорогу к месту расстрела, проездом через город, раздавался из автомобиля дикий и безумный вой: это плакал и кричал старый военный врач. Он все время бился в смертельной судороге, жадно цепляясь за жизнь. Судья его успокаивал, стыдил и упрашивал старца, напоминал ему о достоинстве и чести. Но тот был глух ко всему, кроме голоса жизни. Судья умер сурово, с презреньем глядя на солдат и чекистов: повидимому, он был подготовлен к такому финалу и не ждал пощады от большевиков. Как всегда при расстрелах, на этом их мученья не кончились. Их семьи были материально разорены, мо-

рально опустошены. По получении вести о расстрелах начались болезни и смерти, а гимназистка, дочь старого врача, помешалась от неутешного горя. Эти скупые подробности я услышал уже спустя два года.

VI. ПЕРВЫЕ РАССТРЕЛЫ.

Три недели прошло с тех пор, как мы, арестованные по делу о рабочей конференции, сидим в тюрьме. Явился какой то матрос, следователь Чеки, для снятия допроса, но ограничился только заполнением анкеты. Из газет мы знали об аресте в Москве Всероссийской конференции уполномоченных, и у нас мелькала соблазнительная мысль о переводе в Москву. Время шло. И местное рабочее население глухо волновалось по поводу нашей судьбы.

Профессиональные союзы созывали многолюдные собрания, на которых принимались резолюции протеста и требования нашего освобождения. Совет профессиональных союзов составил особую делегацию от 17 союзов, которая явилась в Исполком во имя нашей свободы. На митингах, устроенных большевиками по случаю наступления чехо-словаков, наши товарищи то и дело давали бой по вопросу о терроре, направленном против социалистов. И ораторам большевикам приходилось изворачиваться, объясняя наш арест тем, что мы состояли на службе у Антанты.

Но все было безрезультатно; собрания, делегации, выступления на митингах — не трогали большевиков. Тогда в рабочей среде заговорили о забастовке. Собрались вновь многолюдные собрания профессиональных союзов: кожевников, печатников, металлистов и др. И заявили ультимативно: если не последует освобождение в порядок дня ставится вопрос о подготовке всеобщей политической забастовки. Комитеты социалистических партий колебались, но не могли противостоять растущему настроению.

На свидании друзья запросили нашего мнения, и мы, посовещавшись, высказались против забастовки, опасаясь провокации со стороны большевиков. Неоднократно эта мысль приходила нам в голову — о том, что Чека заинтересована в разгроме рабочего движения, захваченного антибольшевистскими настроениями, что Чека идет по этому пути из соображений политических и карьеристских. Мы предчувствовали, что большевики провоцируют политическое выступление рабочих, чтобы залить его кровью и взять в железо «шептунов» и «предателей».

И, хотя было ясно, что местный пролетариат против власти, местные советские «Известия» именем пролетариата оправдывали наше заключение. Более того, каждое утро свежий газетный лист приносил статьи, возвещавшие, что скоро карающая рука пролетариата опустится на нас со всей жестокостью революционного правосудия. И была напечатана статья с упоминанием наших имен, даже в своем заглавии таившая последнее предостережение: Memento mori...

Конечно, мы не могли остаться сторонними зрителями развормачивавшихся событий. Втроем мы написали листок, — обращение к рабочим — передали его на свидании товарищам, и за нашими подписями оно было издано местными комитетами Бунда и РСДРП и распространялось в городе. Даже несколько экземпляров попали к нам в тюрьму. Судья прочел и похвалил. Наши камерные сожители считали этот акт чрезвычайно смелым, удивлялись нашей беспечности и считали нас обреченными.

А в городе произошли новые и неожиданные события. Ночью, в день выхода листка, двое рабочих расклеивали его, были схвачены чекистами и в ту же ночь расстреляны. Об этом расстреле двух лиц за расклейку контр-революционных прокламаций было напечатано в местных «Известиях» и в «Еженедельнике ВЧК». На самом же деле одна «неточность» была допущена в этом официальном сообщении:

расстрелян был только один, — второй, раненый выстрелом, бежал прямо из рук пьяных палачей. Он бежал и скрывался у товарищей. И скоро об этом кошмарном расстреле стало известно во всем городе. Это был первый расстрел за политическую деятельность. Это была первая казнь социалиста. И вообще это было только на заре кровавого разгула диктатуры, и к расстрелам человеческое сознание еще не было приучено.

Среди рабочих, в Совете профессиональных союзов, в правлениях союзов вопрос о ночном расстреле переплетался с вопросом о нашей судьбе. И переходил в общий вопрос: о необходимости борьбы со всей политической системой. Волнение, просачиваясь дальше, перекинулось и в ряды большевиков. Там впервые увидели элементы провокации в действии Чека, и туда для контроля были посланы два члена Губкома. Совет профессиональных союзов решил взять на себя похороны расстрелянного товарища, и потребовал у Чека выдачи трупа, но Чека отказала. Но в конечном счете среди большевиков победили крайние течения, которых даже расстрел социалиста не мог привести в себя. Напротив, опьянение росло с каждым часом. Клубы социалистических партий были закрыты. Организации социалистических партий в пределах всей губернии объявлены нелегальными. Всем членам комитетов социалистических партий предложено в 24 часа покинуть пределы Витебска.

Не так благополучно и просто разрешался вопрос о нас. В губкоме не пришли ни к какому решению и пришлось созвать коммунистическую фракцию Совета рабочих депутатов, где происходили долгие дебаты на тему, как быть с нами. Было одно предложение, исходившее из источников Чеки, о нашей «ликвидации». Было другое предложение о нашем освобождении. Оба предложения исходили из спешности вопроса, опасаясь волны рабочего движения, которое в представлении многих могла вылиться в

форму штурма тюрьмы и насильственного нашего освобождения. И вот одни хотели пойти навстречу этой волне, выпустив нас из тюрьмы, а другие хотели нашим расстрелом поставить рабочих перед совершившимся фактом и лишить их борьбу конкретного содержания. Но голоса на заседании разделились. Никакого решения не было принято. Запросили В. Ч. К. в Москве, и наша судьба определилась.

* *

Увидав в клубе свеженапечатанные листки, Смушкин сейчас же предложил свои услуги расклеить их по городу. Его отговаривали: — как бы чего не вышло! Чека на чеку, и агенты шныряют по улицам. Можно ограничиться распростран нием на фабриках и в мастерских... Но Смушкин был молод, не проходил искуса подпольной работы, и риск и новизна соблазняли его. Было 12 часов ночи, когда он, захватив с собой рабочего Зубарева, вышли на улицы и занялись расклейкой прокламаций. Так как листок был напечатан по обе стороны, то приходилось клеить рядом на стене два экземпляра, что требовало больше времени и задерживало их на одном месте. За этой работой они были замечены в центре города какими то, большевистскими солдатами, вооруженными винтовками, и отвезены прямо в Чеку. Там, повидимому, стосковались по добыче. Кругом все чекисты и солдаты были пьяным пьяны. Они даже толком не расспросили об имени арестованных контрреволюционеров. Под дождь грубых издевок их бросили в какую то камеру, где они сидели час-другой, третий, пока пьяный ареопаг решал их судьбу. В 4 часа ночи их вывели из помещения Чеки и повели вверх по улице. Была туманная, влажная ночь. Стояла промозглая сырость. Бежать было невозможно: их окружал большой конвой во главе с комендантом Чеки. И совсем недалеко, в самом центре города, в ста шагах от Чеки их привели в Духовской овраг, в низменный и глухой, заросший бурьяном пустырь, где и совершили над ними кровавую рас-

праву. Смушкин упал сразу, пораженный пулей в сердце. Зубарев неожиданно для своих палачей бросился бежать. Пьяные чекисты в мраке стреляли ему вслед и пулей раздробили ему челюсть. Но обезумевшему от боли и ужаса Зубареву удалось спасти свою жизнь и скрыться под сенью мрака, — что не помешало Чеке скрыть факт его побега с Голгофы и даже цинично напечатать о казни двух, а не одного.

Смушкин был приказчик, пролетарий, выходец из бедной еврейской семьи. Ему было всего 22 года. До революции он был среди «сочувствующих». С начала революции он вошел в Бунд и был готов взять на себя в партии и в профессиональном союзе самую черную, неблагодарную работу. Вся его внешность и бледное, широкое лицо в очках чрезвычайно ясно отражали черты его внутреннего мира, скромность, готовность отдать себя, искренность. Не только как жертва кровавой трагедии, — как человек, он оставил по себе светлую память. Год спустя после его смерти профессиональный союз и Бунд отметили этот день, чем могли. Правда, номер журнала, выпущенного союзом в память Смушкина, был конфискован. Журнал был закрыт навсегда, а редактор его, человек, отбывший десятилетнюю каторгу при царском режиме, должен был долго скрываться от ареста.

•

VII. НОЧНОЙ УВОЗ.

За крепкой оградой тюрьмы мы ничего не знали. Мы ждали событий и осложнений после листка, но мы и не подозревали, что этот листок стоил уже жизни товарища. Как назло в этот день не было оффициальных свиданий. Мы беспричинно беспокоились и томились. Почему сегодня нет даже Иосифа? Ведь он может в любой час проникнуть в тюрьму. Вероятно, что-нибудь случилось... Наростало с каждым часом беспокойство. И когда уже с грустным сознанием роковой оторванности от внешнего мира

мы легли на свои матрацы и потушили огонь, раздался стук в наше окошко. Было 11 часов ночи. У окна в темноте виднелся один из помощников начальника тюрьмы. Он сказал:

— Из Чека звонили, что через полчаса приедут за вами. Будьте готовы.

С возмущением соскочили мы с нар, подошли к окну и, перебивая друг друга, заявили:

— Передайте Чеке, что ночью мы никуда не поедем, что раньше восьми часов утра мы не тронемся с места, что мы не уедем, не попрощавшись с близкими.

Мы так громко, волнуясь, кричали на помощника, что он счел нужным сказать:

— Я тут не при чем, нам приказано передать. Хорошо, я позвоню в Чека.

У нас было бодрое состояние духа. Мы решили не ехать и никуда не итти до утра. Зажгли огонь, легли и стали ждать. Прошло полчаса. Пришел опять помощник и сообщил:

— Из Чека звонили, что ваша поездка отложена.

Сразу отлегло от сердца. Нам приходила на ум мысль, что это была проба со стороны Чека, что, встретив наше сопротивление, Чека отказалась от мысли взять нас. Но прошло немного времени, полчаса или час, и вновь, спугнув наше настроение, к окну подошел дежурный помощник и сказал:

— Собирайтесь, сегодня в три часа вас возьмут.

Сознаюсь, у всех нас внезапно возникла мысль о расстреле. А у кого ее не было, те прочли ее в лицах оробевших и испуганных наших сожителей по камере. Мы стали молчаливы, сдержанны, решили выжидать событий и лежать, не одеваясь.

И в три часа ночи за нами явились. Щелкнул замок, звякнул засов и в камеру ввалились гурьбой с бранью и криками: «Вставай!» человек десять солдат, вооруженных винтовками. Особенно запомнился один, в медной каске, с злым и развратным лицом.

Во главе этой банды был высокий латыш в суконном френче с наганом за поясом.

— Куда Вы нас хотите взять?

— Этого я не могу вам сказать. Вы боитесь, что это на расстрел? Заявляю вам, что — нет. Еслиб на расстрел, я бы вам так прямо и сказал.

— Так куда же вы нас хотите увести? — спрашивали мы, не одеваясь и не вставая с нар.

— Этого я не имею права вам сказать, — упрямо повторяет латыш.

И мы так же упрямо заявляем ему:

— Никуда мы не пойдем до восьми часов утра, никуда мы не уйдем, не попрощавшись с близкими.

— Вставай! Чего их слушать,—раздался тут визгливый голос солдата в каске. — Садануть прикладом. вот и весь разговор.

И он вместе со своими коллегами подошел к нарам, пытаясь применить свое военное искусство.

Нечего делать, — мы стали натягивать брюки и складывать, под продолжающуюся брань и стук винтовок, вещи.

— Вещей не надо! Вещи не разрешено брать! — крикнул латыш.

Опять, как молния, прорезала сознание мысль, подтверждающая прежние догадки о расстреле. Мы заспорили. Мы требовали, чтобы вещи нам было разрешено взять с собой, что без них мы не можем ехать, что их здесь раскрадут. А. Т., который был спокойнее других, отличался особой убедительностью аргументации, и латыш махнул рукой:

— Мол, берите вещи.

И тут во время укладки, в напряженной нервной обстановке взаимного озлобления, у нас завязался тот бестолковый, нелепый разговор, переходящий в спор, с солдатами и их начальником, который кто не вел в первый период после октября и на собраниях, и в Совете, и даже в тюрьме.

— Довольно, слушали мы этих соловьев, — кричал солдат в медной каске.

Латыш, весь красный от полноты чувств возмущения, кричал нам:

— А кто смертную казнь на фронте вводил?

— А мало вы большевиков в тюрьмах морили? А сколько дней меня самого вы в этой тюрьме держали?

И в этом хаосе криков и бряцания оружием, конечно, не доходили до ушей наши рассказы о том, что мы не только не держали большевиков, а напротив тов. Т. ездил в Петроград к Керенскому добиваться освобождения большевиков, привезенных с фронта и сидевших в этой тюрьме. И, благодаря его хлопотам, они были освобождены.

Мы в последний раз оглядываем камеру, прощаемся с сожителями. Их лица ужасны; на них ясно написано убеждение в том, что нас берут на казнь. Некоторые целуются с нами. У частного поверенного нервы не в порядке: он плачет. Мы взваливаем свои пожитки на плечи и идем в контору тюрьмы. Там нас обыскивают поверхностно: ищут бумаг, тетрадок, и все отбирается. Наши деньги, часы, ножницы, документы не могут быть выданы в такой неурочный час; отсутствует чиновник с ключем от кассы и от ящика.

Но тут происходит новая напасть. Латыш командует к выходу и говорит нам:

— Вещи вы оставите здесь.

Стало окончательно ясно, что нас ведут на расстрел. И только голосом инстинкта, цепляньем за жизнь можно объяснить тот факт, что мы нашли в себе силы заспорить и заявить, что без вещей мы не идем. Мы даже отошли в заднюю часть комнаты и кто-то опустился на свои вещи. После пререканий и стычек нам удалось убедить латыша позвонить председателю Чека по поводу наших вещей. Позвонил, — и вещи нам было разрешено взять с собой. И в это время, мы увидели в воротах тюрьмы, знакомую женскую шляпку — нашу приятельницу, которая уже узнала о предстоящем увозе и принесла

какие то вещи: вероятно, для того, чтобы узнать, живы ли мы. Угрожая ей арестом и крича на стражу у ворот, наш конвой, вмиг прогнал ее. Когда мы вышли на улицу, ее следа уже не было.

Была темная, непоглядная ночь. Свинцовое небо низко нависло над землей и увеличивало духоту. Дождя не было, но в воздухе чувствовалась сырость и от взмахов холодного ветра съеживалось сердце. Улицы были пустынны. Ни одного прохожего. Ни одного фонаря. Ни одного огонька в окнах домов. Город спал, но казалось, что он умер. У ворот тюрьмы уже ждал увеличенный наряд чекистов и солдат, который окружил нас и повел с ружьями на перевес. Впереди отряда шел латыш, а у четырех углов нашего кортежа медленным шагом двигались вооруженные всадники.

Мы были нагружены вещами, которых накопилось немало и нам было трудно нести их с непривычки к свежему воздуху и обстановке. Тов. Т. помимо своих вещей нес еще общий чемодан с хозяйством, и, помню, всю дорогу дребезжал чайник с привязанной к нему крышкой.

— Как вы думаете, куда нас ведут — на вокзал или в овраг? — спросил я своего 18-тилетнего соседа.

— Не знаю, — ответил он.

Но мы уже огибали улицу, через которую лежал путь к Духовскому оврагу (где иногда производились расстрелы) и шли по улице, где находилось помещение Чеки. Но тут ничего не произошло. Нас остановили на минутку, латыш зашел в Чека, тотчас вернулся оттуда и скомандовал:

— Дальше!

Мы пошли дальше. Мы шли по улице, ведущей к вокзалу, но у самого вокзала на площади дороги расходились — направо — на вокзал, и налево — в Сосонники, где на Юрьевой горке и происходили обычно расстрелы. Я наклонился к своему спутнику и говорю:

— Как вы думаете, направо или налево?

Он уверенно говорит, что направо, и мы действительно идем на вокзал. Какими то задними ходами мы попадаем на платформу, а оттуда по витой железной лестнице куда то наверх, и мы в большой комнате, пустой, совершенно лишенной мебели. Ни скамьи, ни стола. Что же долго думать тут? Мы поколебались немного, развязали свои вещи и начали устраиваться на полу. А. Т. повел переговоры с нашим конвоем о том, как бы достать чаю и после долгих уговоров его повели в буфет первого класса. Любопытная это была сцена, когда А. Т. появился в зале, переполненной народом, в сопровождении архангела, державшего на прицел револьвер, с дулом, направленным на него. Ему удалось добыть молока; мы поели, почувствовали себя благодушно и даже предложили угощение конвою. Наконец, в восемь часов утра мы пробегаем через платформу. Мы уже в поезде. Солдаты впереди, солдаты позади. Мы между ними в тесном, но отдельном купэ III класса (не в тюремном, так называемом, столыпинском вагоне). Мы разворачиваем скамьи и начинаем прочно устраиваться. Но переживания минувшей ночи оставили свои следы. И снова стучит и стучит назойливо тревожная мысль: —

— Куда нас везут? В Смоленск, в Москву?—как проговорился конвой. И не думают ли они нас расстрелять где-нибудь вне Витебска вдали от рабочих, от наших друзей? Снимут на какой нибудь маленькой станции и там совершат свою расправу.

Товарищи на воле, узнав о нашем увозе, предположили самое худшее и в одном поезде с нами послали бундовца-печатника следить за тем, где мы будем расстреляны и сообщить потом в Витебск.

Стало уж совсем светло. Туманное утро сменилось погожим днем. Из окна вагона на платформе мы видим знакомое лицо: огромный, толстый, с заплаканным лицом, отец К., приятельница тов. Т. Вызывают нашего латыша и вручают ему для нас провизию. Издали на платформе мелькает фигура това-

рища-печатника. Наконец, мы едем. Понемногу отстаивается настроение. На душе становится ровней и легче. Дорога успокаивает расстроенные нервы. Я верю, что впереди Москва, и рад свиданию с друзьями в московских тюрьмах. На маленьких станциях смотрим в окна и видим: наш печатник рвет цветочки в канавах и украдкой поглядывает в нашем направлении: там ли мы, живы ли еще? Засыпая на ночь, мы слышим, кто-то вблизи насвистывает очень музыкально элегическую крестьянскую песню, — это латыш.

И вот мы в Москве. Вещи наши уложены на извозчика, и мы мерным солдатским шагом, под конвоем, проходим радующие места: Тверскую, бульвары, и через Неглинный и Кузнецкий выходим на Лубянку. Москва просыпается, открываются магазины, прохожие провожают нас долгими взглядами.

VIII. В. Ч. К.

То помещение ВЧК, в которое попали мы, находилось на Лубянке в доме бывшего страхового товарищества «Якорь». Мы быстро прошли через комнаты первого этажа, где среди молчаливых стражей с винтовками, были расположены радиусами хвосты посетителей: за пропусками, разрешениями на свидания и с узелками, предназначенными к передаче в тюрьму. В небольшой комнате на третьем этаже произошел церемониал сдачи и несколько латышей приступили к обыску личному и наших вещей. Шарили в карманах, ощупывали всю нашу одежду. Когда один на нас попытался спрятать маленькие ножницы, его грубо увели в другую комнату, там обыскали, уже раздев донага и сфотографировали, повидимому, как особо важного преступника. Очень высокий и очень толстый немец с большой рыжей бородой, оказавшийся директором какой то московской фабрики, подвергался обыску рядом с нами и

все беспокоился, как бы крупные деньги, взятые у него при обыске, не исчезли безвозвратно в Чеке. Наконец, обряд кончен, и нас ведут дальше, то вверх, то вниз по каким то лестницам, по каким то этажам, и, минуя ожидальни с длинными скамьями по сторонам, мы стучимся в маленькую дверь.

Куда она ведет? В подвал? Часовой с ружьем, пересчитывая, впускает нас в большой, освещенный электрической лампочкой коридор. По всей правой стороне коридора свеже срубленные, узкие каморки с треугольным отверстием в двери, ниже пояса, так, чтобы смотреть было неудобно. Испуганные глаза и взъерошенные волосы смотрят из одиночек на вновь входящих. Сюда сажают наиболее важных преступников. Или, вернее, таких, судьба которых уже решена, и не стоит затрудняться более их тщательной изоляцией. Сегодня или завтра — это их последний день.

Проходим дальше, мимо одиночек по коридору и попадаем, куда нам предназначено: в общую камеру ВЧК.

Глаза разбегаются от обилия людей, от шума голосов, от невообразимого хаоса. В то же время очень приятно увидеть сразу столько людей и раствориться в общей массе. Громадная комната сплошь уставлена нарами, но людей больше, чем лож. Кой-где расставлены длинные столы и узкие скамьи, переполненные людьми. Стены до потолка закрыты тонкими досчатыми шкафами с бесчисленными ящиками, в которых, повидимому, хранились бумаги страхового агентства. Освещение скудное. Днем и ночью горят электрические лампочки. Большие окна выходят на двор и плотно замазаны. Душно и непривычно в комнате.

Кого здесь только нет в этой толпе! — 200 с лишним человек, которые лежат на нарах, бродят по комнате, собираются кучками и оживленно беседуют.

Все места уже заняты. Нам придется ждать своей очереди, когда какой-нибудь счастливец или не-

счастный уступят нам свое ложе. Мы кладем вещи на пол, под стол, знакомимся, рассказываем свою эпопею и выслушиваем чужие. Но прежде всего надо осмотреть все предоставленное нам помещение. По коридору направо ведет лестница, наверх, мимо решетчатых окон. У окон стоит часовой, здесь нельзя останавливаться; в окно виден двор, на нем масса автомобилей; доносится звук гудков и слышатся выстрелы резиновых шин. Наверху чистые уборные и мраморный умывальник. Как хорошо освежиться после пыльной дороги. Рядом стоит часовой — китаец. Он предлагает купить у него фунт чаю.

Кого только нет среди этих сотен людей — какие города от столиц до захолустья здесь только не представлены. Сколько разных званий, состояний, профессий. Какая разница в возрасте. В самом дальнем, мало освещенном углу гнездится большая семья духовенства черного и белого. Монахи и священники, привезенные из Соловецкого монастыря и из других мест инстинктивно сгрудились вместе, молча, со строгими лицами, обрамленными седеющими гривами, уткнувшись в тяжелые книги, печатанные славянской вязью. По всем направлениям разбросаны маленькие ячейки, как их называют, «эс-пе», то-есть, спекулянтов, арестованных по всяким облавам, засадам, реквизициям и конфискациям, совершаемым в целях удушения буржуев. Лучше всего себя с первого взгляда чувствуют «пэ-де» — так называют здесь обвиняемых в преступлении по должности. Это проворовавшиеся чиновники, по большей части военные, из большевистской армии, всякие интенданты и хозяйственники, иногда члены большевистской партии, часто провинившиеся и пойманные с поличным сотрудники и деятели Чека. Но большей частью сюда попадают «ка-эры», то есть контр-революционеры. Тут бывший министр Временного Правительства А. В. Пешехонов, перелистывающий свежую книжку своего журнала, которой суждено стать последней. В свое время Троцкий противопоставлял

его «министрам-капиталистам» и рисовал идеальное правительство из 12-ти Пешехоновых. Теперь он попал сюда. Тут и председатель всероссийского союза учителей, приглашенный властями для чтения лекций в провинцию и там же на вокзале арестованный. Тут и талантливый адвокат, имевший 4 Георгия на войне, назначенный перед октябрем в состав английского посольства и ныне обвиняемый в сношениях с Антантой. Тут и группа учащихся средне-учебных заведений, обвиняемая в контр-революционном заговоре и подготовке вооруженного восстания.

— Кто только не перебывал сейчас в Чеке? — шутит один из собеседников. — Вы посмотрите адрес-календарь Москвы, и вы увидите, что «вся — Москва» сидит или сидела тут.

Поздно ночью, когда мы за отсутствием нар сидели на узкой скамейке, положив голову на край стола (на самом столе тоже спали) с шумом ввели в камеру новую партию, человек в 25. Из Лосиноостровского, близ Москвы. Торговцы, чиновники, служащие, военные летчики. У кого то нашли список членов Совета народных комиссаров, с подлинными фамилиями революционных псевдонимов и даже с адресами. Вот и возникает дело о «ниспровержении». Как новички, они с почтением прислушиваются к нашему мнению, мнению стариков, раньше их прибывших сюда. Летчики тотчас же улеглись в узкие, досчатые ящики на стенах и с опасностью провала сладко прикурнули там.

Мы тоже легли: кого то увели, и койки по очереди для нас оказались свободными. Но — какой ужас! Клопы. Какое множество! И как больно кусаются! — Нет, тут не уснешь. Нельзя уснуть и потому, что по ночам в Чека идет жизнь самым интенсивным темпом. Гудят гудки, шумят автомобили. Огонь в камере горит всю ночь. И почти всю ночь можно добыть кипяток. Встаем и садимся пить чай.

— Который час?

— А кто его знает!

— Два, три часа ночи. Впрочем, не все ли равно?

Кто то входит в камеру властными шагами с бумагами в руках и выкликает фамилии. Вот назван лидер гимназистов, потом адвокат; бледнеют и идут. Куда? Зачем? На эти вопросы не отвечают, и никто не пытается их ставить. Идут. Кто на допрос, а кто в безвестность, так же внезапно исчезая для своих случайных сожителей, как появляясь. С ужасом смотрят остающиеся на уходящих. С ужасом вслушиваются в голос чекиста, выкликающего фамилии. Бледные лица, взлохмаченные головы подымаются с нар и безнадежно опускаются снова.

Дзержинский работает только по ночам, Петерс тоже. Рядовые следователи подражают патрону. Палачи, как известно, тоже. По ночам вызывают на допросы. По ночам заседает коллегия. По ночам выносятся окончательные приговоры. По ночам происходят расстрелы. Расстреливают в разных концах Москвы. Но также в сараях и подвалах Чеки. Прямо из комнаты следователя, где угроза браунингом была не последним средством получить «сознание», обреченного ведут в автомобиль и вместе с другими жертвами — увозят. На дворе с поздним часом громче гудят гудки и шипят машины и раздается отрывочная команда уходящих и сменяющихся отрядов. Ночью Чека живет бурной, интенсивной жизнью.

Надо сказать, что и время было бурное. И много работы было у Дзержинского. В самом разгаре борьба с чехословаками, и фронт Учредительного Собрания требует все больше внимания Чеки. «Ликвидируются» дела по Ярославскому восстанию. Начаты первые дела против иностранных миссий, и открыто дело Локкарта. Кругом все новые и новые контр-революционные заговоры, и тут еще рабочая конференция уполномоченных фабрик и заводов. Много работы у Дзержинского.

А кроме того «эс-пе» и «пе-де». Если у кого при обыске найден лишний фунт сахару или свыше тыся-

чи рублей наличными, тот злостный спекулянт, «буржуй», враг народа. Если кто-либо посмел неодобрительно отозваться о советском декрете или советском человеке, по первому доносу ближнего Мымрецовы хватают его за шиворот и волокут в Чеку в качестве «ка-эра».

Светает... И тошно становится на душе в полумраке, при потухшем электричестве. Фантастической и странной кажется вся эта обстановка. И не дни — а три-четыре недели здесь сидят без свежего воздуха, в вечном шуме и гаме, под гнетом нечой жизни в Чека. Ожидают допросов, развоза по тюрьмам, и только наивные ожидают освобождения. Едят по шестеро из одной миски капустный суп на вобле. Довольны $^3/_4$ фунта хлеба и кусочком сахару, пьют много чаю. Продовольственными передачами заведуют какие-то «пе-де», не то из чекистов, не то из заключенных, не разберешь. Причем никаких записок не пропускают, ни с воли, ни туда, и, конечно, «аккордом плутуют».

Адвокат вернулся еще ночью. Он был на допросе у Дзержинского.

— На этот раз опять удалось вырвать свою жизнь из лап Чеки, — говорит торжествующе адвокат.

Лидер гимназистов не вернулся. На днях «Извесия» принесли его имя в очередном списке расстрелянных. Говорят, что действительная вина его в одном: он в классе дал пощечину сыну писателя коммуниста.

IX. В ТАГАНСКОЙ ОДИНОЧКЕ.

Нас выкликают в алфавитном порядке до буквы Л. Отправляют через полчаса с вещами.

— Куда?

— В тюрьму.

— Таганку или Бутырки?

— А там видно будет.

Через полчаса нас выводят во двор с вещами и сажают в большой тюремный автомобиль. Каким чудом нас поместилось по счету 39 человек — непонятно. Сидят буквально друг на друге. При езде валятся и давят друг друга. Впрочем, недолго ехать — всего 15 минут. В автомобиле темно, и только скудный свет улицы льется сквозь темные передние окна.

Уже надвинулись сумерки, когда мы приехали в Таганскую тюрьму. Через ворота нас провели в тюремную школу. Обычные парты и «советская конституция» на стене составляли все убранство комнаты.

— Самое подходящее для вас тут место, — говорю председателю учительского союза, который приехал вместе с нами.

Кто то из тюремной канцелярии принес толстую книгу, куда заносят сведения о заключенных. Книга совсем старого образца. Тут графы: национальность, вероисповедание, звание, имена и адрес отца, жены, братьев и сестер. Канцелярист все тщательно, хотя и неграмотно, записывает. Кроме того он каждого спрашивает в чем обвиняется: каэр, эс-пе, пе-де и, если кто затрудняется ответом, канцелярист сам отмечает: ка-эр.

Наконец, длинными дворами нас ведут в одиночный корпус. Это красное кирпичное здание, внутри построенное, как говорят, по американскому образцу: одиночки окружены балконами, откуда ведут узкие железные лестницы вниз, спускаясь к столу, за которым постоянно дежурят. Куполообразный потолок повис очень высоко и под ним ютятся сотни одиночек на нескольких этажах. Снова обыскали, разбросав вещи по столу, и повели в камеры.

Нас было двое в одиночке: я и юный, восемнадцатилетний эс-ер. Слева от нас сидел полный, высокий епископ в ярко-желтой шелковой рясе; справа, какой то австрийский поляк, обвиняемый в шпионаже. От скуки он приручил двух маленьких мышек, и носил их с собою гулять в кармане, иногда распласты-

вая их на руке, чуть придерживая за хвостики. Поляк был в франтовской шляпе и в желтых ботинках, но обувь его пришла в совершенную ветхость и верха у нее как-будто уже совсем не было. Только этих двух соседей мы видели в те моменты, когда открывалась дверь камеры; остальных ближайших соседей мы встречали только на прогулке.

Режим в одиночках был суровый, жестокий.

— Идеальная тюрьма! Настоящая тюрьма! Единственное, что сохранилось в полном порядке в России, что еще не развалилось, — не мог нахвалиться Таганской одиночкой — московский адвокат, вскоре привезенный сюда из В. Ч. К.

Действительно идеальная тюрьма. Железо и камень. Только дверь деревянная, но обитая плотным железным переплетом. Серый сводчатый потолок тяжело нависает и как бы пришибает голову и... душу. Серые стены наводят тоску. Пять шагов в длину, два в ширину. Не разгуляешься вдвоем тут. Тусклый свет льется из решетчатого окна: окно высоко и крутой подоконник почти недоступен. Мебель, конечно, есть.

Крепко ввинченные в стену:

койка, стол и табурет.

Да еще неизменная парашка, ведро в деревянном ящике, — «герметически закупоренном» — по положению, но на самом деле весьма издающем зловоние. Так мы и живем в этой клетке. Я — на койке, юный товарищ — на соломенном мешке на каменном полу. Табурет неудобен и удален от стола. Сидеть не на чем. Днем и ночью электричество горит — мы читаем. Когда то койка опускалась только на ночь, днем захлопывалась к стене. Теперь мы лежим целые сутки и читаем. Из ВЧК у нас была протекция к библиотекарю тюрьмы — он пришел к нам и прислал Сологуба, Гамсуна в издании «Шиповник», и какие то ветхие романы, выдранные из старых журналов. Книги менялись раз в неделю, но мы пользовались протекцией.

Круглые сутки здесь царит та тишина, которую, по выражению поэта, можно слышать. Мы изолированы от всего мира, от других заключенных. Старший надзиратель с револьвером за поясом неслышными шагами проходит по корридору. В 8 часов утра, в 8 часов вечера раздаются звонки — идет поверка, и кто-то, не открывая камеры, заглядывает в наш волчок. Трижды в день в определенные часы открываются форточки и в них подают хлеб, кипяток, обед и ужин. Только раз по утрам открывается дверь одиночки, и уборщик-уголовный выносит ведро и вы снова изолированы навеки. Для вызова надзирателя есть в каждой одиночке звонок. Когда становится совсем невмоготу, вы звоните своему сердитому стражу и просите: взять папирос в такой то камере или отдать туда то книгу или выпросить там какой-нибудь еды.

Это были очень голодные дни в тюрьме. К тому же по неизвестной причине на две недели были отменены свидания, а с передачами у меня и у соседа обстояло очень плохо. Достаточно сказать, что единственной передачей за две недели мне было от приятеля-чудака — фунт шоколаду от Эйнема и торт из белой муки. А между тем от голода буквально стонала вся тюрьма. Выдавали полфунта хлеба в день и такого качества, к которому еще не успел привыкнуть желудок в 1918 году. Выдавали дважды в день баланду, смешанную с черной картофельной шелухой вместо картофеля и с костями вонючей воблы вместо рыбы. Чаю и кофе не было и пили кипяток с солью, которую по утрам разносили вместе с хлебом. Помню, с каким удовольствием принимали мы скромные подарки, которые присылали нам от случая к случаю товарищи, узнавшие о нашем бедственном положении: кусочек пропахшей колбасы, головку от селедки и пр. Но, конечно, это не спасало нас от самого настоящего голода. К вечеру, после поверки, когда поделенный на несколько частей полфунта хлеба — уже был съеден без остатка и когда в десятый раз

мы безнадежно ложечкой соскребли дно некогда полной консервной коробки, мы вновь с безнадежностью ложились на свои места, мы буквально подтягивали потуже животы, и с голодным юмором, подражая чеховской сирене, начинали перечислять те блюда, которые было бы сейчас весьма кстати попробовать.

На прогулку нас выпускали каждый день минут на 15-20. Выпускали приблизительно 10 камер, расположенных рядом, — хотя правила строгой изоляции требовали прогулок покамерно. Двор, расположенный у одиночного корпуса, был разделен на три равномерных треугольника, окруженных со всех сторон высокой досчатой оградой. Внутри каждого треугольника был устроен тротуар, по которому были обязаны гуськом ходить заключенные. Стоять у стены запрещалось, — переговариваться через щель в заборе с гуляющими в соседнем треугольнике — тем более. Над двориком возвышалась башенка, на которой всегда дежурил тюремщик с винтовкой. Он угрожал выстрелить, если вы не отойдете от стены, или не прекратите разговора. Он следил также за тем, чтобы заключенные не взлезали на подоконники, не трогали решетск, не смотрели в окошко. Но, конечно, мы всегда успевали сговориться с нужным человеком через щель забора и передать ему записку. С прогулкой вообще связывались надежды что-нибудь узнать, услышать новости. Хотя стояли плохие погоды, начиналась осень, накрапывал дождь, легкая, износившаяся одежда не закрывала от ветра, но все же свежий воздух, движение, люди пятнадцатиминутное пребывание вне постылой камеры гнали всех на прогулки, и только немногие, давно уже впавшие в равнодушие, потерявшие всякий вкус к жизни, оставались у себя на койке или на мешке на полу и во время прогулок. Когда такие вылезали на свежий воздух, вас поражал их призрачный, мертвенный, землистый и совершенно изнуренный вид.

Только по случайным встречам на прогулках и свиданиях, да по еще более случайным известиям

можно было получить представление о населении Таганского одиночного корпуса. Здесь сидели видные представители старого царского режима: министры, священники, генералы, офицеры. Здесь сидело много лиц, связанных с первым периодом революции: министры Временного Правительства и представители партий эс-еров, с.-д. и ка-де. Здесь сидели промышленники, те самые, с которыми Ленин несколько месяцев тому назад весной и летом 1918 г. пытался строить «государственный капитализм» в России. Здесь сидело несколько десятков рабочих из Питера и Москвы, Нижнего и Тулы, с Украины и Сибири, арестованных на Всероссийской конференции уполномоченных от фабрик и заводов. Наконец, для полноты картины надо добавить, что здесь были и иностранные шпионы, которых только что стали арестовывать, и русские провокаторы, которых еще не успели полностью «ликвидировать». В общем и целом, за исключением царских министров и генералов, все это была новая публика, только первые месяцы сидевшая при большевиках. И, если с тюрьмою, даже беспокойной тюрьмою эпохи революции, было нетрдно сжиться старым революционерам, то сжиться друг с другом им было труднее. Это было естественно, — на прогулках, на свиданиях, при встречах тянулись друг к другу и держались инстинктивно друг друга — социалисты особняком от кадет, кадеты от царских сановников. Только летом, рассказывают, когда были устроены огородные работы при тюрьме, туда выпускались врассыпную отдельные заключенные, — понемногу завязывались личные отношения между разнокалиберным составом заключенных, — на память о чем даже осталась фотография, снятая на огородах. Но по истечении лета и после перевода всех из общих камер в одиночки стало труднее общение. Еще недавно рассказывали, при аресте кадетской конференции в Москве ее посадили in corpore в общую камеру, и там арестованным пришлось заслушать доклады и закончить свою

конференцию. Также недавно, когда арестованную Всероссийскую рабочую конференцию от фабрик и заводов привезли в ВЧК в общую камеру ей тоже больше ничего не оставалось, как устроить ликвидационное заседание. А сейчас — общение стало очень затруднительным. Все почувствовали острый прилив внезапного благочестия и по воскресеньям стали ходить в церковь на богослужение (тогда еще церкви при тюрьмах действовали). Даже больше, в портняжной мастерской при тюрьме в какие то еврейские праздники была открыта молельня и туда тоже кое-кто пробирался «независимо от национальности и вероисповедания». Лишь бы выскочить на минуту из одиночки, повидаться с людьми. Кстати, еврейская община присылала своим единоверцам и еду по случаю праздников.

Но беспокойно живется в большевистской тюрьме. Впрочем, тюремные старожилы испытали не раз обыски в тюрьмах и знают, что это значит. Но все же большевистский обыск представляет собою не особенно обычное явление. Представьте себе осеннее холодное утро. Полуодетые жители одиночек только что умылись, попили кипятку с солью, пожевали хлебца. И вдруг — неслышно открываются двери одиночки и властный голос кричит:

— Выходи из камеры в корридор, выходи в чем есть...

Выходим полуодетые, дрожим от сильного ветра, который несется по корридору. У других камер тоже стоят дрожащие полуодетые люди. Всюду солдаты, латышские стрелки с винтовками. Как всегда при тюремном обыске, они неслышно подкрались к нам, как воры, и внезапно совершили свой набег на заключенных. По балконам проходит вдоль всего корридора какой то штатский в картузе, в сером пальто, с отвратительным рябым лицом, — чекист, заведывающий обыском. Он смотрит, все ли в порядке, все ли вышли из камер. Говорят, что это Берзин, сидевший за взятки и выпущенный только

на-днях из Таганки. Типичная биография чекиста. Три латыша-солдата с добродушными белобрысыми физиономиями обшаривают все углы, залезают в матрацы, разбрасывают наши скромные пожитки и особенно подозрительно ощупывают и обнюхивают наши шапки. Все найденное вкладывают в конверт, на котором пишут фамилию и № камеры. Листок с воспроизведенными по нем стихами, клочки каких то разорванных бумажек и пять нелегальных рублей — вот и весь улов. Немного. Но говорят, что во всей тюрьме взято в пользу... ВЧК много тысяч рублей. Мой товарищ озабочен: он курит, — на что он будет покупать спички?

X. В ДНИ КРАСНОГО ТЕРРОРА.

И вот началось... До этого момента тоже были расстрелы. Но, живя в таганской одиночке, что в точности мог знать политический узник об этих расстрелах? Иногда в советских «Известиях», любезно сообщавших к сведению российских граждан списки расстрелянных, мы находили своих, таганских. Но большей частью приходилось довольствоваться слухами, которыми тюрьма издавна жила и живет. Снизу, со стола дежурного помощника, с утра до вечера выкликают номера одиночек, фамилии. Надзиратели выпускают узников, одних с вещами, других без них, — за передачами, на свидания, на допросы, в ВЧК. Кто знает, зачем вызывают из тюрьмы и что будет дальше? Лежа на своей железной койке с продавленным матрацом, с некоторой тревогой прислушиваешься к этим выкликаниям и вызовам, невольно думаешь: когда же наступит твой черед? Невольно ждешь, не назовут ли имени товарищей, знакомых?

Вот мимо проходит московский адвокат, с которым вместе сидели в камере ВЧК, смотрит в волчок и кричит нам:

— Опять позвали в ВЧК.

— Счастливого возвращения, — говорим мы ему в ответ, — но в корридоре не слышно нашего голоса, — и адвокат уже давно спустился по лестнице вниз. Кто знает, вернется ли он назад, в таганскую одиночку, — или газетный лист принесет нам и его имя в списке уходящих навеки? Потом на прогулках зашепчутся и назовут имена, расскажут с чужих слов, со слов кого-нибудь из тюремщиков о том, что ночью приезжал чужой автомобиль, что «комиссар смерти» явился с большим отрядом в тюрьму, что увезли многих и многих, — что расстрелы идут десятками и сотнями, и что пресловутые списки в «Известиях» не включают и сотой доли общего числа расстреливаемых в Москве...

И вот однажды началось... Еще утром памятного дня прибежал уборщик и сказал, что Ленина не то убили, не то ранили. На прогулке было очень тревожное состояние, и встревоженные «шептуны» забегали от соседа к соседу, с ужасом в глазах, заплетающимся языком расспрашивая и загадывая: что-то будет, что-то будет? Вечерние «Известия Московского Совета» принесли нам в камеру зловещую весть о покушении на Ленина, об убийстве Урицкого. Помню, первыми потребовали красного террора гимназисты 5-го класса. Они вынесли резолюцию, угрожая, если власти не решатся, взять на себя инициативу объявления красного террора. Но их голос прозвучал не в пустом пространстве, и газеты несли одно ужасное известие за другим. В Петербурге Зиновьев приказал расстрелять в одну ночь 500 человек, взятых по алфавиту. Народный комиссар внутренних дел Петровский издал приказ по губернским и уездным чекам о взятии заложников, и, повидимому, по всей земле русской нашлось немало заплечных дел мастеров. Все провинциальные города в вакханалии кровавого соревнования стали сообщать списки расстрелянных, а столичные газеты стали их печатать под рубрикой: красный террор.

Такого смятения и беспокойства большевистская тюрьма еще не знала. Самые стойкие потеряли головы. Лица осунулись, и бороды седели. На прогулках говорить было не о чем: слова были бессильны. Министры, офицеры, чиновники, старорежимники, кадеты, эсеры, меньшевики, интеллигенция рабочие — все были подавлены и смяты протянувшейся лапой палача, ожидающего своей жертвы. Циркулировали слухи о списках, составленных в чеке на предмет расстрела. Говорили, что судьба меньшевиков еще не решена: быть может, расстреляют, а, может быть, и нет. Но о кадетах или эсерах, конечно, говорить не приходится: не сегодня, — завтра их возьмут. И, действительно, начались массовые вызовы из тюрьмы. Дни и ночи из глухо запертой одиночки мы слышали лихорадочную деятельность в тюрьме. Прислушивались к каждому шагу в корридоре, к каждому наружному звуку, ждали своей оч реди , своего вызова. Как у Зиновьева: список по алфавиту. И на следующий день во время прогулки боишься узнать, подкатилась ли волна кровавого террора к таганскому одиночному корпусу.

В воскресенье мы узнали: увезли на расстрел царских министров и некоторых видных сановников. Генерала Сандецкого, говорят, взяли прямо из церкви. Во время свиданий и на прогулках я встречал Н. Маклакова и Д. Протопопова. Последний был жалкий больной старик в каком-то нелепом халате. Мне запомнилась маленькая сцена, которую я наблюдал во время свидания его с маленькой толстой женщиной, вероятно, женой. Обе решетки, обычно разделяющие явившихся на свидание, были либерально спущены, и вокруг на свидании можно было говорить ровно и обычно, без диких и нелепых выкрикиваний в семьдесят голосов сразу. Протопопов держал в руках бумажку и пытался прочесть по ней список нужных ему вещей. Полумрак и, плохое, вероятно, зрение мешали ему прочитать. Какой-то человек лет тридцати пяти с крупными рыжими усами

и молодцеватой выправкой прочел Протопопову записку, и потом я слышал, как этот рыжеусый субъект, приложив руки к груди, подобострастно говорил Протопопову:

— Помилуйте, Ваше Высокопревосходительство, я — служащий вашего ведомства, рад служить...

И оба разгуливали по узкому коридору свиданий, пародируя когда-то бывшую жизнь.

Маклаков по внешности был типичный интеллигент, — профессор провинциального университета или кадет-адвокат. Но, говорят, что он остался верен себе. Как начал свою карьеру с «прыжка влюбленной пантеры» и веселых анекдотов, так и кончил ее, незадолго до последнего увоза смеша своих соузников легким анекдотом.

В эти беспокойные дни в тюрьму приехала «большевистская совесть», — неугомонный ходатай по делам социалистов — Рязанов. Он приехал успокоить и сказал, что острый момент миновал, что в Москве зиновьевской операции не повторят. И, действительно, из провинции шли вереницы телеграмм, ликующе сообщавших о десятках жертв красного террора, — но в Москве было затишье. Повидимому, в Кремле шла глухая борьба, и в этой борьбе одержало верх умеренное крыло коммунистов. Радек написал в советских «Известиях» популярную статью, в которой авторитетно разъяснял, что экспроприация буржуазии означает экспроприацию средств производства. Надо забрать у буржуев их фабрики, заводы, дома, капиталы, но самая жизнь буржуев весьма безразлична для пролетариата. Так призывал Радек не увлекаться массовыми расстрелами. Вздорная и пустая была статья, и сам автор преднамеренно излагал ее в форме наивной сентенции, не имея возможности просто и искренно призвать зарвавшихся чекистов к прекращению бессмысленного и ужасного террора. Но какой благостной вестью прозвучала эта вздорная статья для тысяч и тысяч заключенных в большевистских тюрьмах!

Вернулся из ВЧК знакомый московский адвокат, невредимый и довольный. Но через два дня, к ночи его внезапно увезли вместе с камерным сожителем, ка-эром, офицером, и через неделю мы прочитали их фамилии, жирным корпусом напечатанные в списке расстрелянных. Причина гибели их в точности неизвестна, но, говорят, непосредственным поводом послужила безумно-храбрая попытка побега из Таганки. Друзья адвоката прибыли в тюрьму в автомобиле, подделав ордер ВЧК и хотели взять его с собою «на допрос». Совершенно случайно начальник тюрьмы стал проверять по телефону подлинность ордера. Автомобиль успел ускакать, а ВЧК воспользовалась неудавшимся побегом, чтобы рассчитаться с человеком, в которого давно метила пуля Дзержинского. Адвокат был общительный человек; в тюрьме он издавал газетку в стихах и прозе. В одном стихотворении он писал о свободе, которая подстрелена «немецкой пулею — увы! из русских рук». Он был убежден до самой смерти, что руками большевиков действуют немцы. Он был храбрый человек и на войне заслужил четыре Георгия.

Себя я считал в последней очереди, больше опасался за судьбу своего соседа, 18-тилетнего мальчика, эсера. Но первым вызвали меня. Не выкликнули номер сразу, как бывало в спокойное, мирное время, — от чего все узнавали, чью камеру назвали. Нет, старый надзиратель тихо открыл дверь и сказал мне:

— Будь готов, скоро позовут с вещами.

Часов в 12 дня вызвали вниз, в контору, где уже толпилось десятка полтора заключенных в шляпах и меховых шапках, седобородых и безусых, таких же взволнованных, как и я, и недоуменно вопрошающих: — куда нас везут? В ВЧК? в Бутырки?

Неизвестно. Наотрез отказываются отвечать. И невольно закрадывается в сердце тревожное чувство: неужели мы попали в список? неужели нас везут на расстрел? Вошли какие-то чекисты с особо торжественными и суровыми движениями и повелительным

выражением лица. Нас повели через дверь к воротам, в глубине которых дожидался знакомый черный автомобиль.

С особой жестокостью нас стали вталкивать в автомобиль, и когда я сел—один из первых—у решетчатого окошечка, кто-то с седой бородой навалился на меня всей тяжестью и со свойственной русскому интеллигенту неуместной деликатностью стал извиняться. Голос показался знакомым. Года три тому назад по делам Земского союза я слышал его и тотчас узнал. Это был Ш., который очень обрадовался нашей встрече и рассказал мне, что он сидит с мая месяца по делу о кадетском клубе вместе с Н. М. Кишкиным. Бывший министр Временного Правительства, сильно поседевший, но сохранивший прежнюю юношескую бодрость сидел возле на собственных узлах. Из окошечка я никак не могу узнать Москвы и рассказать своим спутникам, где именно мы проезжаем. Вижу только: осень, солнечный луч играет в блестящей лужице, очаровательная пятнадцатилетняя девочка приподнимает грациозно платьице, чтобы перешагнуть через лужу. Мелькают ноги, пальто, стены домов. Глухой гудок, — и после резкого толчка автомобиль останавливается.

XI. БУТЫРКИ.

В воротах — конвой. В большой приемной нас принимает группа надзирателей, готовых к операции обыска. Дело не слишком затягивается. Взвалив узел на спину, мы проходим двором, мимо тюремной церкви, затем узким коридором в предназначенную нам камеру. Нас встречает стража грубой площадной руганью, которая не прекращается, несмотря на наш решительный отпор. Захлопывается засов, скрипит ключ в замке, — и мы дома. Только какой-то старик поляк в черном сюртуке упорно стучится в двери и добивается безуспешно выхода на оправку.

Оглядываюсь. В два ряда расположены железные койки, обтянутые парусиной, большей частью порванной и перевязанной веревками. В узком пространстве между коек стоит длинный замусоленный стол. А у дверей ржавая жестяная параша с неплотно прилегающей крышкой. Под столом три медных бака и два огромных чайника. Вот и все убранство и мебель камеры.

Устраиваемся, занимаем койки. Кто опытнее, ищет места у окна или посредине. Неудачникам достаются койки, расположенные у параши. Знакомимся, разглядываем население, — и на следующий день кажется, что мы уже давно знакомы, близки и знаем подноготную друг друга. Впрочем, некоторое взаимное недоверие к рассказам друг друга остается надолго: кто знает, может быть, просто врет, из любви к искусству, а, может быть, хочет приукрасить тьмы низких истин нас возвышающим обманом? К нашему приезду туземцев в камеру было всего несколько человек: какие-то купчики-охотнорядцы, сидевшие за нарушение советских декретов; грузин, называвший себя социал-демократом и арестованный в чайной, где в тот час убили комиссара; какой-то подозрительный тип, по секрету намекавший, что он привлекается по монархическому делу Самарина (на деле, он, вероятно, был просто проворовавшимся советским служашим, пе-де). Этот тип заявил новоприбывшим, что он — староста этой камеры.

Остальные прибыли сюда из таганских одиночек. Профессор артиллерийской академии, генерал, болгарин, артиллерийский инженер, два военно-пленных румына, группа кадет во главе с Кишкиным, студент латыш. Совсем юный семнадцатилетний гимназист из Вологды рассказывал, как пришли к ним на квартиру с ордером на арест Петра Конова. Петра не оказалось, — был гимназист Володя. Чекист, не долго думая, зачеркнул в ордере Петра и написал Володя. И поволокли раба Божьего Володю из родной Вологды в Москву по чекам и по тюрьмам. Долго-

гривый, седобородый священник Б-нов рассказывал, что по какому-то делу арестовано девять Б-новых. На допросе его спрашивают:

— Вы тот Б-нов, который написал стихотворный памфлет про Ленина?

— Нет, не я.

Тогда чекист с многозначительным видом открывает ящик письменного стола, вынимает фотографию сильно декольтированной женщины и спрашивает священника в упор:

— Знакома ли Вам эта особа?

Но так как эта особа оказалась незнакомой священнику Б-нову, его увели после допроса назад в тюрьму, и больше по своему делу он ничего показать не мог. Я вел дружбу с этим священником: у него был жестяной чайник и чай, а у меня был кофе, и мы обменивались заварками. Но однажды гимназист, спавший рядом со священником, с ужасом рассказал мне, как его сосед по ночам вычесывает из волос и бороды громадное количество вшей и прямо бросает их на пол. С тех пор, каюсь, наша дружба резко оборвалась.

Весь первый день ушел на уничтожение клопов. Мы зажигали бумажки и лазили вдоль стен и выкуривали насекомых. Пришлось следить друг за другом, чтобы никто не оставил нетронутые гнезда. А потом каждый занимался своим делом. Кто читал книги, кто играл в шахматы, сделанные из неведомого тюремного материала (вряд ли из хлеба: хлеб слишком дорог). Группа кадет, окруженная толпой любопытных, играла в «скачки»: на картонном поле бегали зеленые, красные и синие лошадки. Карты в тюрьме были нелегальны, но кто-то ухитрился их протащить.

Было мирно и тихо. Кормили баландой из вонючей капусты, гнилых овощей, картофельной шелухи. Зато давали $^3/_4$ фунта хлеба, и процедура его дележки по системе номерков или по системе выкликаний каждое утро представлялась наиболее торжествен-

ным моментом. Но дни передач по-истине были праздниками. Радовались те, которые получали продовольствие и весточку от близких. Надеялись неведомо на что и те, которые заведомо не могли получить ни продовольствия, ни вестей. В нашей камере было таких 7-8 человек, которым каждый выделял кое-что из своей передачи и передавал через старосту неимущим. Последние не испытывали, повидимому, гнетущего чувства. Идея равенства им была чужда, и они охотно услуживали, выносили не в очередь парашу, зашивали порвавшийся мешок на койке и пр. С другой стороны было и любопытно, и противно наблюдать проявление собственнического инстинкта у получавших передачи. Такой счастливец сидит у себя на койке спиной ко всему миру и возится старательно и долго с присланным кульком, ревниво прикрывая собой его содержание.

Изредка бывают свидания. Это кульминационный пункт тюремной жизни. Но в отличие от Таганки, здесь узников отделяют от вольных двумя проволочными сетками. Представьте себе узкую комнату, куда с одной стороны впускают заключенных, с другой их близких. Между двумя сетками расстояние в аршин, и в этом пространстве между говорящими разгуливает надзиратель. 35 человек с одной стороны, 35 с другой, выбиваясь из сил, оглушительно крича и надрываясь, все вместе одновременно стараются что-то сказать друг другу, не слыша и не понимая друг друга. И так тянется свидание в течение 10 минут.

Камеры закрыты весь день, жизнь в них идет томительно однообразно. Трижды в день на десять минут выпускают в уборную. Тридцать минут продолжается наша прогулка на большом дворе, где мы гуляем целым коридором, человек 100 и где встречаем немало знакомых. Какой-то толстый купчина с огромными телесами обращал на себя всеобщее внимание: оказалось, член государственной Думы, октябрист.

Не успели мы еще сжиться и войти во вкус, как неожиданно столкнулись с коммунистическим экспериментом нашего тюремного начальства. Вообще, кроме надзирателей, ставших понемногу вежливей, никакого начальства на горизонте не было. Но по слухам Бутырки перешли в ведение ВЧК, и сюда назначен комендант из ВЧК. Немедленно он принялся за дело. С самого утра поползли упорные слухи, что сегодня комендант решил ввести коммунизм в тюрьме, и без всякого предупреждения из всех продовольственных передач образовать один общий коммунистический котел. Уже было поздно, когда тюрьма заволновалась. Жены и матери с шести часов утра дежурили у тюрьмы в очереди передач, купленных на последние крохи. Дома ничего не осталось, вещи проданы на Сухаревке и Смоленском, дети лишены молока и жиров, — все отнесено в тюрьму. А тут тюремщики производят коммунизацию котла. Белье, книги, табак отдаются, а все остальное: каша, картофель, хлеб, сахар, колбаса, мясо, масло, — все отдается на кухню. Молоко, ввиду небольшого количества, почли за благо отослать в больницу. Результаты тотчас же сказались: у нашего окна показались уголовные (не в пример политическими, многие из них пользовались свободой передвижения) и продавали разные съедобные вещи. Болгарин инженер признал свои собственные консервы и выменял их на теплую фуфайку.

Чаша терпения переполнилась. Мы устроили собрание и постановили заявить протест. Я был уполномочен действовать от имени камеры. Все камерные старосты собрались и вынесли резолюцию протеста против коммунизации котла. Помню, один из пунктов резолюции гласил: если тюремная администрация считает недостаточным казенное питание, пускай она улучшит его из средств казны, а не за счет заключенных. Оказалось, однако, что мы слишком поздно примкнули к кампании. Все уже было и без того ясно. Когда в качестве выборного от коридора

я вступил в переговоры с начальством, — я узнал, что по всей тюрьме уже были выбраны коридорные старосты, которые образовали совет старост Бутырской тюрьмы. Единодушно было потребовано ликвидировать коммунистическую затею. Единственное, что вечером напомнило нам о переживаниях минувшего дня и о потерянных продуктах — это $^1/_{16}$ хлеба и 1 кусочек сахара, выпавшие по разверстке на долю каждого из коммунистического котла. Все остальное рекеизированное пошло на... кухню,—вероятно, в пользу начальства, потому что баланда этого дня ничем не отличалась от вчерашней.

XII. ОБЩИЕ КАМЕРЫ В БУТЫРКАХ.

Через кухню, куда мы бегали за кипятком и где сходились таинственные нити, связывавшие население огромных разбросанных Бутырок, мне удалось установить местонахождение моих меньшевиков. Я подал заявление начальнику тюрьмы о переводе. Мотивы для тюремщиков и красноармейцев неоспоримые: общее продовольствие. В тот же день меня перевели в первый коридор. Но там оказался взводный — упрямый ригорист.

— В третьей камере нет места, пожалуйте в первую.

Но и в первой все двадцать четыре койки заняты, спать придется на столе или под столом. Однако взводный не слушает никаких резонов, и я неожиданно попадаю в первую камеру. Знакомлюсь, присаживаюсь на табуретку. Из-за отсутствия места не могу развязать своих узлов. Только к ночи очищаю место на столе, раскладываю пальто, и — готово место для ночлега.

Пестрый состав камеры. На первом плане союз домовладельцев; в связи с последним декретом о национализации домов, до 70-ти домовладельцев попало в чеку. Пожилые люди, купцы, интеллигенты,

старожилы-москвичи, политике чужие и равнодушные. Старик, барон с громкой фамилией, с которым мне выпала очередь выносить парашку. Другой, известный в Москве спортсмен, по имени которого назван даже кубок, выдаваемый победителю на каких-то ристалищах. Третий — типичный домовладелец-середняк, любитель поговорить по душе, бессознательный, инстинктивный противник революции. В то время, как спортсмен выбрасывал коленца с фуражкой и мячиком на дворе, этот домовладелец вел со мною политические разговоры такого рода:

— Я понимаю, — говорил он, — если вы делаете революцию. Инородцам царский режим мешал. Евреи были лишены права жительства. Финны и поляки всегда хотели отделиться от России. Кавказские инородцы всегда волновались. Понятно, если Церетелли и Либер устраивали революцию. По нам, русским людям, крестьянам, рабочим, купцам, уверяю вас, революция одно разорение, и только. Вы только воспользовались нашей слабохарактерностью и рыхлостью. И мы сами виноваты: зачем пошли в слепую за евреями и грузинами?

Был еще один человек, принимавший к сердцу судьбы русской революции. Но Иван Иванович оказался англичанином, живущим в России с 9-тилетнего возраста, что не помешало ВЧК привлечь его в качестве агента Антанты.

Рядом были камеры социалистов, отчего весь коридор и именовался социалистическим. В этой камере из 25-ти человек было 18 социалистов, — большинство меньшевиков, немного эсеров. Они завели у себя продовольственную коммуну, читали доклады, переписывались нелегально с волей и волновались по поводу резолюций партийных центров, — словом, старались жить так, как будто ничего не случилось.

Я поселился по соседству, где приютилась группа моих друзей, товарищей по общему делу. Интересно отметить, что педеков как будто и не было в тюрьме, все — каэры. Даже спекулянты и те счита-

ли себя политическими преступниками, и власти усердно поддерживали в них это представление. Когда рижского фабриканта консервов взяли на допрос по поводу консервов следователь счел нужным поставить ему ряд политических вопросов.

— Признаете ли вы советскую власть?

— А вы, господин следователь? Хотел бы я посмотреть, как бы вы не признали советскую власть, — отвечал консервный фабрикант.

— А скажите, знакомы ли вы с Либером? — осведомляется любознательный следователь.

— Не помню, — искренно показывает фабрикант, — может быть, среди моих клиентов есть и такой. Кто их всех запомнит!

В нашей камере, третьей по счету в Бутырках, было тоже весьма пестрое общество. Евреи из Кишинева, отец с сыном, арестованные за излишки чаю, найденные при обыске. Прапорщик из рабочих, называвший себя анархистом, по вечерам напевавший приятным баритоном старинные романсы. Крупный фабрикант конфект со всероссийским именем («самый знаменитый человек в России», как мы шутили), арестованный вместе со своим заводским комитетом, за которого рабочие безуспешно хлопотали. Два коммуниста, военных комиссара, доставленные из Архангельска по обвинению в выдаче Англии военных секретов. Военный летчик и художник, рисовавший с нас портреты и рассказывавший нам о совместных полетах с Троцким на аэроплане. Флотский офицер с типичной еврейской фамилией и наружностью, выдававший себя за христианина. Борец из цирка, огромный, сырой человек, к вечеру расплакавшийся от страха, как ребенок, а потом во сне разыгрывавший носом такие рулады, что вся камера спать не могла. Маленький красноармеец, подбиравший картофельную очистку, всегда выпрашивавший кусочки и всегда готовый услужить, — грязное и бессловесное, жалчайшее существо, вшивость которого заставляла самых добродушных

гнать его прочь. Был еще какой то чудак в кожанной фуражке со знаком, техник, неустанно чертивший модель... беззапашной парашки. Он оказался членом союза изобретателей при совнархозе, но был, вероятно, просто помешанный. Среди нас было очень много людей, связанных с войной. Однажды, в тишине ночи (всю ночь горит электричество), мы провели голосование по койкам. Оказалось, из 25-ти человек 17 было на фронте и 14 ранено. Сколько пережитого, сколько рассказов о галицийских боях, о Карпатских снегах, — которые от солдатских вшей покрывались сплошной черной движущейся массой.

Всю ночь горит электричество. Нередко, когда мы на ночь завешивали его колпачком из газетной бумаги, надзиратель строго стучал в дверь: не дозволяется. И так не спится, от скученности, от парашки, духоты, беспокойных звуков товарищей, — а тут еще свет. Но только свет гаснет — 5 часов утра — уже кричат: вставай на поверку! Отодвигается засов, входят два тюремщика. К этому времени мы обязаны уже скатать вещи, поднять койки и выстроиться в две шеренги — для удобства счета. Нас сосчитывают и оставляют в покое. И тогда наступают самые мучительные часы. Электричество потушено. Окна, выходящие на церковный двор, дают так мало света, что в камере в течение двух-трех часов длится полумрак, при котором ничем заняться невозможно. Самое бы время спать. Но койки должны быть подняты в течение всего утра, до обеда, с 5—6 часов утра до часу дня. Невыспавшиеся, злые, бездельные, бродят заключенные из угла в угол, по отсыревшему полу. Даже посидеть при поднятых койках не на чем: табуретами служат узенькие ящики, подставки под койками, часто без покрышек. Через час выпускают в уборную. Выносим опорожнить парашку, чтобы потом опять на целый день внести ее в камеру. Идем умываться и оправляться. Умываться приятно, стоять восьмым в очереди у умывальника, нетерпеливо покрикивать на канительщиков, с радостью ощущать

живую воду, — кажется, она одна живая в тюрьме. Как были тяжелы и мучительны три памятных дня, когда в тюрьме не было совсем воды, ни для кипятку, ни для умыванья. Грязно, противно ощущать самого себя, — зверье, а не человек. Вот это ощущение не человека, а грязного животного бывало у нас каждый день в уборной. Мучительно рассказывать, но пусть и это будет зафиксировано. Мы, взрослые, немолодые, культурные люди стоим в очереди, человек 8—10, один за другим, в вонючем, полном зловония и человеческих отбросов, никогда непрочищаемом клозете, — стоим и ждем, спокойно и привычно смотрим, как оправляется попавший в очередь счастливец.

XIII. СРЕДИ СМЕРТНИКОВ.

В это время разыгралась германская революция. Вначале не верили, думали, обычная советская утка. Который раз! Но когда поверили, когда узнали, что слетела корона с Вильгельма, пошли у нас бесконечные споры и разговоры. Стеклов называл германскую революцию «февралем», прологом к победоносному «октябрю». Один офицер, немного писатель (из «Биржевки»), намекавший на свое былое заключение в Петропавловской все приставал:

— Что вы думаете обо всем этом? Ведь, собственно говоря, принципиально, в идее, большевики правы. Значит все возражение может быть только направлено против террора. Но скажите, как иначе поступить с нашим народом...

Он не договаривал, но уже тогда можно было уловить в нем, ущемленном большевистской тюрьмой, покаянное настроение, впоследствии получившее имя сменовеховского.

Но над всей страной продолжал реять массовый красный террор, и население тюрьмы трепетало от ужасных предчувствий, читая в «Известиях» еже-

дневные списки расстрелянных. Тогда выходил в свет знаменитый журнал «Еженедельник ВЧК», который нигде не находил таких усердных читателей, как в тюрьме. Там поставляли идеологию красного террора, а в промежутках между каннибальскими фельетонами и списками расстрелянных дискутировали проблему о допустимости пыток с точки зрения революционного марксизма. Помню, с каким ужасом встретили члены союза домовладельцев упоминание моей фамилии в одном из фельетонов еженедельника (№ 3). В нем рассказывалось о том, как по делу контр-революционера, меньшевика такого-то, видный коммунистический сановник обратился к председателю ВЧК с просьбой об ускорении рассмотрения дела. И в своем заявлении — страшно сказать! — титуловал этого контр-революционера товарищем. Возмущенный фельетонист хотел только сделать легкий выговор сановнику, а мои домовладельцы сочли меня обреченным навеки, как попавшего в поле зрения чеки. Вообще, в эти роковые месяцы лучше всего было уйти из поля зрения чеки: пусть там забудут о вашем существовании. Не дай Бог, если вспомнят.

Между тем ВЧК начала проявлять лихорадочную деятельность. Приближался октябрьский юбилей. Говорили, конечно, об амнистии. В тюрьме охотно толкуют об амнистии. Сколько раз носились радостные вести о рождении... наследника Ленина! По коридорам забегали, как мыши, следователи, большей частью латыши или евреи, студенты, изредка, женщины, иногда по ночам, с целью допросов и для ознакомления с делом. В Бутырках, в конторе, цифра заключенных, написанная мелом на черной дощечке, показывала 2500-2800. Тюрьма была густо перенаселена. Во всех камерах скученность сверх нормы: спят на столе, под столом. Грязь, вши стали общим явлением. К вечеру все снимают рубашки и убивают «внутренних врагов». Начинает свирепствовать тиф. В это время оказалось, что огромное большинство

заключенных даже не было допрошено. Месяцами ждали не только допроса, но просто объяснения, за что арестован. Но беспомощные следователи начинали допрос на белом листе бумаги, на котором была начертана фамилия и — хорошо, если подлинное — имя, с вопроса:

— Скажите, гражданин, в чем вы обвиняетесь?

И когда гражданин, возмущенный таким началом допроса, восклицал:

— Это вы мне должны сообщить, гражданин следователь! — последний невозмутимо приступал к трафарету и ставил в упор ряд положенных вопросов: признаете ли вы советскую власть, стоите ли вы на советской платформе и пр.

И по нашему делу о рабочей конференции явился следователь и поставил нам ряд трафаретных вопросов. Он был поражен, когда мы отказались на них отвечать до предъявления нам обвинения. А когда обвинение было нам предъявлено, оно гласило, что мы созвали конференцию уполномоченных от фабрик и заводов, чтобы свергнуть советскую власть и захватить ее в свои руки. Так, в простоте душевной, была написана бумага из провинциальной чеки, которую следователь нам предъявил... Надо сказать, что следователям было поручено намечать кое-кого к освобождению, и, действительно, после допроса бывали случаи освобождения. Но машина ВЧК работала исправно. На место десятка освобожденных поступала сотня новичков. Красный террор продолжал действовать.

Старик лет 65-ти, бухгалтер ждал расстрела: у него нашли револьвер на чердаке, на даче. Один сын у него, офицер, уже был расстрелян. Другой сын сидел в Бутырках; они были строго изолированы друг от друга и только во время прогулки сын кричал что-то отцу со двора в окно 3-го этажа, где находилась наша камера. Да кто не опасался тут расстрела? Какой-то пожилой, флегматичный человек в баках, всегда молчаливый; говорили: это бывший жан-

дармский полковник. Он, конечно, ждал своего часа. Пришли за Беляевым, взяли в ВЧК, подержали там три недели в ожидании допроса, потом вернули к нам обратно. Оказалось, по телеграфу из Петербурга арестовано 5 Беляевых. И до сих пор неизвестно, кого из них надобно расстрелять. Пришли за Безобразовым, но он уже вышел в тираж.

— Как же это? Ведь его взяли на прошлой неделе и в списке расстрелянных показали.

— Что ж? Канцелярская ошибка, — с кем не случается!

Раза три в неделю в 2 часа дня приезжал в тюрьму черный автомобиль с комиссаром смерти — Ивановым — забирать на расстрел. Тревога охватывала тогда всю тюрьму. Все чутко прислушивались, не отодвигаатся ли засов. Все ждали, не позовут ли к ответу. Но меньше всего ожидали увоза на расстрел беленький старичек и братья Б-овы.

Я сидел тогда в камере с домовладельцами. Когда кого-нибудь освобождали, здесь было заведено устраивать шумные проводы. Под дирижерством спортсмена мы начинали громко разыгрывать марш на столе, затем петь какую-либо бравурную песню и в заключение оглушительно апплодировать. Всю эту историю мы с большим чувством провели и тогда, когда освобождали старичка. Он был маленький, упитанный; с милым разово-белым личиком. Ходил он в белом холщевом костюме, и запомнились мне узкие бутылочки с молоком, рядышком стоявшие на окне и через день обмениваемые на новые, приносимые из дому. Старичек нервно упаковывал свои вещи и вышел под неимоверный шум и овации камеры. И когда он ушел, нас как-то сразу всех взяло сомнение: действительно ли на свободу его увели, — не в чека ли? По какому делу он сидел, не знает ли кто? Нет, никто ничего не знает. И всем стало тревожно на сердце и тяжело. Через три дня газетный лист прислал нам его имя в очередном списке расстрелян-

ных: лосиноостровский урядник, 25 лет служил царскому правительству, имел собственный дом.

Братья Б-овы — графские дети, почему-то тщательно скрывавшие свое звание. После октябрьского переворота усадьба их была погромлена крестьянами, а вся графская семья была доставлена в уездный город и посажена в тюрьму. Сейчас в тюрьме братья сидят уже 5-6 месяцев и ожидают скорого освобождения. В чем их обвиняют? Да, собственно, в чем можно обвинить людей, глубоко равнодушных к России и к ее судьбам, ни аза не смыслящих в политике? Им было неловко уклониться от участия в коллективной камерной подписке на газеты но они не читали газет в те часы когда выпадал их черед. Старшему было 26 лет; он был офицером, получил рану на войне, говорил по-французски, скандировал Игоря Северянина и по вечерам пел дуэты с прапорщиком-анархистом. Младший, 18-тилетний юноша только что кончил гимназию. Единственная страсть в его жизни — собаки. Больше ни о чем не говорил. На тему о собаках писал в охотничьем журнале. Во время ареста у него нашли коллекцию портретов генералов мировой войны. По субботам им приносили белье, и каждый раз они с торжеством разворачивали кальсоны и на самом видном месте находили надпись: скоро увидимся. Нет, им уже не пришлось увидеться со своими! Уже после моего ухода из тюрьмы, в ночь на Новый Год, их расстреляла ВЧК.

Других спешили расстреливать до юбилея октябрьской революции, чтобы их как-нибудь не коснулся акт об амнистии. И в то время, как 7 тюремных надзирателей было посажено в Пугачевскую башню и затем увезено на расстрел, несколько десятков других надзирателей, большей частью служивших при старом режиме, разучивали на дворе «Интернационал». Им надлежало принять участие в праздничной большевистской демонстрации...

Час нашего освобождения наступил внезапно. Звякнул замок нашей двери, и голос спросил: здесь ли такой-то? Нас было трое да еще четыре меньшевика из соседней социалистической камеры присоединились к нам, когда нагруженные огромными узлами, мы вышли из коридора в контору, там получили пропуска и длинными дворами вышли в незнакомые улицы. Было около 3-х часов ночи. Темно и холодно, но как приятен свежий, вольный, морозный воздух. Извощиков нет. Москва мирно спит. Мы, семеро освобожденных людей, тянем свою поклажу, бредем по улицам, смотрим на звезды, радуемся вольному миру и старательно припоминаем наименее удаленные от тюрьмы адреса знакомых.

ВЧК.—Бутырки.
Орловский Централ.

(1921 г.)

1. В ТЮРЬМАХ МОСКВЫ.

I. ДВА ДНЯ В ВЧК.

Февраль 1921 года — предвестник грядущего перелома. В воздухе повеяло новым. Заговорили о сдвиге в настроении рабочих районов Москвы. Зашевелились заскорузлые красноармейцы и курсанты. Безпартийные конференции рабочих и красноармейцев устраивают неприятные сюрпризы властям предержащим. Конференция металлистов объявила оппозицию, и в свою делегацию выбрала даже одного меньшевика... Огромная волна крестьянских восстаний в Тамбовской и Воронежской губерниях подавляется с неслыханной жестокостью артиллерией и броневыми поездами. В это время, а именно, 20 февраля, мы были арестованы на заседании Центрального Комитета Бунда, в самый разгар обсуждения вопроса об отношении к стихийным народным движениям.

Был 1-ый час пополудни, когда в социал-демократический клуб «Вперед» ввалился отряд чекистов и красноармейцев. На лестнице, у выхода, у дверей были расставлены часовые. Наш стол был окружен солдатами с винтовками, и какой-то чекист скомандовал:

— Бумажек не рвать! Все вынуть из карманов и выложить на стол! С места не сходить!..

Кто-то потребовал ордера на арест Центрального Комитета, но ордера не оказалось. Тогда пошли звонить по телефону в ВЧК. Наши законники получили удовлетворение: из ВЧК распорядились, чтобы были забраны все, кого найдут в клубе. А в другой комнате, по соседству были взяты «на месте преступления» члены социал-демократической молодежи, печатавшие на гектографе свой юношеский журнал. Среди них были подростки, которым не минуло еще 18-ти лет и которых, по советским законам, нельзя сажать в тюрьму. Но в ВЧК их, конечно, поместить можно. И вот, после краткой процедуры поверхностного обыска в помещении, после осмотра наших документов и наших бумаг (все лишние бумаги были нами, несмотря на контроль, разорваны в клочья), нас, с дюжину цекистов, и группу молодежи нагрузили на грузовик и отвезли в ВЧК. В клубе была, конечно, устроена засада, и к нам скоро присоединили двух наивных провинциалов из Брянска и из Ростова, чуть ли не прямо с поезда нанесших первый визит партийному клубу.

В комедантской ВЧК было тихо и спокойно. Вещей с нами не было; личный обыск с выворачиванием карманов был обстоятельным. Мы заполнили анкеты, и нас поместили по соседству в камеру, смежную с комендантской, во всю длину уставленную скамьями. Сразу здесь показалось нам несколько неприятно и подозрительно по части насекомых; мы прохаживались взад и вперед, не снимая шуб и пальто. Но мы были усталы и издерганы. Время шло томительно медленно. Постепенно начали свыкаться с тюремной обстановкой. Кто-то постучал в дверь нашему стражу:

— Нельзя ли кипяточку?

Кто-то, более принципиальный, потребовал, чтобы нас немедленно вызвали в президиум ВЧК.

Кроме нас в этом временном помещении было еще два узника. На одной лавке сидел молчаливый, седенький старичек, похожий на торговца разнос-

ных товаров из ярославцев, какие водились до революции. В углу сидел в отребьях, напоминающих остатки солдатской одежды, молодой солдат с позеленевшим от худобы лицом. Он оказался немцем, арестованным по подозрению в шпионаже. Он почти не говорил по-русски. Пришлось перейти на немецкий, чтобы понять его жалобы на то, что он сидит здесь свыше недели в грязи, голоде, не зная, в чем его обвиняют. Он заявил себя членом независимой социал-демократической парти Германии, сочувствующим коммунистам.

Мы сидели на лавках и пили чай, когда нас стали группами выводить в комендантскую. Там было уже все решено. Президиум ВЧК не долго колебался и решил дать нам пристанище у себя. Нас разводили по одиночке. Я шел впереди, за мной солдат, у которого в кармане лежал револьвер. Так шли мы минут десять, то вверх, то вниз, минуя дворы, шли по темному коридору, упиравшемуся в светлый коридор, по обе стороны которого находились комнаты с нумерацией и надписями, шли длинными винтовыми лестницами вверх и вниз, — безчисленными этажами ВЧК.

Вопросы мои были излишни. Солдат был нем, как стена. Наконец, мы остановились, постучали в дверь, и я, повидимому, в тюрьме особого отдела ВЧК. Небольшого роста, в черном пальто и фуражке, молодой тюремщик опять подверг меня тщательному обыску, прежде чем водворить меня на место. Я с оживлением воскликнул, что меня тут раз уже обыскивали. Тюремщик сурово и решительно пригласил меня молчать и тихо следовать за ним по коридору. Всего несколько шагов по узкому и темному коридору, и я в камере № 4.

Шагов шесть в длину, три в ширину. Высокое окно, выходящее во двор, плотно замазано известкой. В открытую форточку вливается со двора звук круглой пилы, назойливый и монотонный. Полумрак скоро рассеивается. Горит электричество. Большие

миски с пшенной кашей выданы на ужин. Из-под подушек вынимаются две огромных бутыли неостывшего чая, оставшегося с обеда. Я сижу у стола на козлах койки, мои сожители сидят на своих койках и с возбуждением осыпают меня вопросами. Я сегодня взят в Москве, а они здесь сидят неделю, четыре недели, шесть недель, оторванные от мира, от газет, изголодавшиеся по человеку и вестям оттуда. Их интересовало все: экономика и политика, международная и русская. Было около 11-ти часов, когда я кончил свой обширный доклад. Дважды подходил к двери тюремщик и грозно приказывал: тише! У меня не было вещей и, признаться, меня пугал вид мешка, набитого соломой. Сосед предложил мне свое второе одеяло, и я, не раздеваясь, уснул безмятежным и легким сном.

В камере, помимо меня, было еще четыре человека. Красивый тридцатилетний австриец; в качестве военнопленного прожил семь лет в Туркестане, занимался там кролиководством, заведывал канализацией и женился на дочери местного старожила — врача, — русской. Месяца три тому назад он получил возможность вернуться на родину, ликвидировал свои дела и, продав имущество, вырученные деньги перевел через банк в Москву, и сам с женой приехал для выполнения последних формальностей. Но в Москве чекисты проследили, как он получил 200 тысяч рублей в банке и явились арестовать его в поезд, с которым он и жена с заграничными паспортами на руках должны были уехать. Не предъявив никакого обвинения, чекисты его арестовали, деньги конфисковали и жену его без всяких средств к жизни и без знакомых в Москве отпустили на все четыре стороны. В полном недоумении он сидит уже больше месяца и надеется попасть в Бутырки.

Полон смысла и определенности арест его визави. Угловатый, изможденный, с ухватками мастерового, напевающий частушки и сочиняющий куплеты, он

поразил всю камеру своим самоуверенным видом, при появлении рекомендуясь: я — анархист Иванов. Он любовно ощупал свой тюфяк, с удовольствием оглянулся по сторонам и начал устраиваться. Но что такое? Все смотрят на него и поражаются. Иванов снимает с себя верхнюю рубашку, затем нижнюю и еще одну нижнюю, и снова верхнюю и снова нижнюю. И то же самое он проделывает, сняв штаны, образуя вокруг себя небольшую горку имущества. На смех и удивленные вопросы Иванов рассказывает, что, скрываясь от чеки, он решил бежать из Харькова в Москву. Пришлось ехать на тормозе. Чтобы было удобнее и чтобы руки были свободны, он погрузил на себя все свое белье. Но в Москве не успел он дойти до явки, как сзади схватили его за руки два чекиста, а третий направил в лицо револьвер, — и пришлось ему сдаться. Оособенно Иванов возмущался тем, что к нему подошли сзади, и он осыпал ВЧК в стихах и прозе самыми жестокими обвинениями в предательстве. Но с раннего утра до позднего вечера был весел, не тяготился тюрьмой и все мечтал об одном: как бы сообщить на «явку» о своем аресте.

Против меня лежал на койке хорошо упитанный с розовым лицом молодой человек, который очень мало рассказывал о своем деле. Он служил в рабоче-крестьянской инспекции и был контролером по Московскому потребительному обществу. Казалось, и РКИ и МПО такие злачные места, которые могут повести за собой и ВЧК. Но молодой человек говорил, что его дело связано с готовящимся процессом какой-то иностранной миссии. Действительно, и в газетах уже были сведения о том, что ВЧК было поручено установить, что под видом иностранных миссий в Советской России действуют спекулянты и контрабандисты, скупающие разные ценные вещи для вывоза из России. Как водится, по этим делам арестованные насчитывались сотнями, и среди них было не мало иностранцев.

Четвертый сожитель нашей камеры и был привлечен именно по такому делу. Один из главных инженеров на металлургических заводах в Коломне, он во все годы революции работал по своей специальности, занимая изредка даже ответственные посты. И вдруг, случилось недоразумение. Прибыли с обыском, арестовали и привезли в ЧК.

— Знаете ли вы гражданина NN из эстонской миссии? — спрашивает следователь.

— Нет, — удивленно отвечает инженер.

— А продали ли вы свой чемодан из желтой кожи за 80 тысяч рублей?

— Да, продал.

— Так как же вы отрицаете знакомство?

И только сидя в камере особого отдела, инженер начал соображать, в чем дело. А следователь ВЧК подтвердил ему, что он привлекается по делу об эстонской миссии.

На самом видном месте, на стене красовались «правила для арестованных, содержащихся во внутренней тюрьме ВЧК». Это были знаменитые правила, введенные чекистом Ягодой, бывшим тогда правой рукой Дзержинского.

И суть в том, что эти правила не только красовались на стене, но выполнялись буквально, с неумолимой жестокостью. Малейшее повышение голоса в камере уже вызывало окрик тюремщике. В уборную по коридору проходили на цыпочках, безшумно, не смея разговаривать друг с другом. Прогулок совершенно не было, и людям приходилось не выходить на свежий воздух целыми месяцами. Любопытно, что впоследствии, когда временно затрещал режим Особого Отдела, права прогулок добились путем голодовки. Но прогулки не предусмотрены при устройстве тюрьмы, и заключенных пришлось водить на прогулки в два-три часа ночи. Книг, даже евангелия, не пропускали, не говоря уже о газетах. В коридоре висело объявление о какой-то библиотеке имени Дзержинского; должно быть пользоваться ею

могли только чекисты. Но в нашей камере каким-то чудом очутилась замечательная книга на немецком языке, из которой мы почерпали знания об именах принцев и принцесс покойного дома Гогенцоллернов. И воспрещение игр было обойдено нами, так как в камере оказались нелегальные шашки, сделанные из хлебного мякиша. Надо сказать, что кормили неплохо: фунт хлеба, пшенная каша, чай и немного сахару. Какой-то юноша в военной форме с наганом на бедре, с типичным лицом чекиста, рекомендовался начальником тюрьмы и ежедневно обходил камеры. Чтобы получить газеты и книги, я написал заявление. На завтра я потребовал вызова на допрос и, как это ни странно, через несколько часов меня вызвали. Это был благоприятный симптом. Инженера тоже вызвали к следователю, который обещал в тот же день выписать ордер на его освобождение.

Опять меня повели этажами, этажами, бесконечными коридорами и витыми лестницами и ввели в комнату № 77 с надписью «секретно-оперативный отдел», где я предстал пред светлые очи следователя Журавченко. Он скоро за неблаговидные поступки сам попал в Бутырскую тюрьму, а пока с хитрецой рабочего простачка попытался завести со мною политический диспут. Я уклонился от беседы с ним и понял, что власти предержащие почли за благо нас освободить. В их планы, повидимому, не входил арест Центрального Комитета Бунда, но молодежь они решили задержать.

И вот, спустя двое суток после ареста, в три часа я попрощался с своими сожителями, завещал анархисту присланное для меня в тюрьму продовольствие, обещал инженеру позвонить о предстоящем его освобождении и вышел на волю.

В воздухе уже пахло недалекой весной. А в Москве, особенно в рабочих районах, разгоралось движение. Рабочие Рязано-Уральской железной дороги обсуждали текущий момент в институте имени Карла Маркса. И на Высших Женских Курсах шли

6

оживленные рабочие собрания. Луначарский и Калинин с трудом добивались слова. Весь вечер с двумя товарищами я пробродил в Замоскворечьи, отыскивая связи и прислушиваясь к робким признакам нарастающих событий.

II. М. Ч. К.

Как видно, события напугали большевиков. В связи с забастовками рабочих Московский Совет решил объявить Москву на военном положении. Я видел набранный в типографии текст приказа об этом, за подписью Каменева. Но власти раздумали, и набор приказа был рассыпан. Быть может, события улеглись, но одно время они приняли грандиозные размеры. Забастовка, возникшая у Гознака на почве недоданных пайков, перекинулась к Прохорову. Вообще в это время в Москве периодически бастовало до 200 предприятий. Бастующий Гознак вышел на улицу, снимая другие предприятия, и в Хамовниках образовалась рабочая манифестация. К вечеру огромная толпа подошла к казарме, требуя, чтобы ее пропустили к красноармейцам. Произошло столкновение. Патруль стрелял в невооруженный народ. Был убит ребенок и тяжело ранена женщина. Заговорили о волнениях в частях. Тогда военные части встрепенулись. Из Кремля был отдан приказ: из казарм красноармейцев не выпускать. Солдатам стали выдавать новую амуницию. МПО получило распоряжение немедленно выдать на каждого солдата по 4 фунта мяса.

Небольшая зала социал-демократического клуба «Вперед» (Мясницкая, 37) была переполнена народом. Царило редкое оживление. Дыхание улицы ворвалось и сюда. Рабочий из Гознака рассказывал о событиях в Хамовниках. Кто-то передавал о том, что происходило на импровизированных митингах в Замоскворечьи и на Высших Женских Курсах. На-

строение было повышенное, даже тревожное. В сущности, все знали, что это собрание будет арестовано. Недавний арест бундовского ц. к. служил предупреждением. Да и можно ли было расчитывать, что коммунисты потерпят легальное существование социал-демократии в такой бурный момент? Все знали цену этой легальности в советском строе и исключительно по моральным побуждениям пришли заарестоваться. Один опоздавший на собрание увидел у дверей вереницу автомобилей. Он понял, что это набег чека, но все же зашел в клуб...

Вдруг мы услышали из коридора шум, гул, лязг, крик. На длинную деревянную скамью вскочил, размахивая револьвером, молодой чекист с наглым лицом, в фуражке набекрень:

— Все арестованы. С мест не сходить. Бумаг не рвать.

Председательствовал С. Шварц, который спокойно потребовал ордера, — он был предъявлен, и Шварц получил удовлетворение. В зале было настроение повышенное, нервное. Кто-то запел демонстративно «Интернационал» и потребовал, чтобы чекист снял фуражку. Тот нехотя это сделал.

Потом все пошло своим чередом. В соседней комнате приступил к делу специальный отряд чекистов; на лестнице у парадного и черного входов повсюду были расставлены красноармейцы. Нас группами обыскивали, забирали документы и бумаги и отправляли в чеку. В общем царило легкое насмешливое настроение. Небольшая группа усердно уничтожала какие-то бумаги; один товарищ старательно проглатывал свеже-написанную прокламацию. Только два товарища все волновались, выясняли «недоразумение» и добивались телефона к властям предержащим. Под небольшим конвоем мы бодро вышли к подъезду, вскакивая в автомобили, и, вызывая недоумение прохожих, громко пели на всю улицу «Вихри враждебные веют над нами» — песню, отныне ставшую нашим официальным гимном. Автомобиль прыгает

по ухабам мостовой, мы валимся друг на друга, оглядываем темную улицу и светлое, звездное небо. Через десять минут мы на Б. Лубянке, 14. Открываются гостеприимные ворота, и автомобиль, совершая полукруг по двору, подвозит нас к двери МЧК. Повидимому, набег явился делом рук Мессинга и К°.

Всю ночь длился кавардак. Нас было очень много — 159, из них 45 женщин. Всю ночь обыскивали, забирали записные книжки, карандаши, ножницы. Многих заставляли снимать обувь. Кой-кого вызывали на допрос, на регистрацию по карточке, на которой значилось: антисоветская партия. Часа в три ночи повели одних налево, других направо. Женщин посадили отдельно, несмотря на их протесты. Мужчины какими-то кружными, запутанными путями были доставлены в две громадные комнаты — казармы. По середине из тонких досок сплошные нары. Доски часто проваливаются, и самим приходится чинить и восстанавливать ложе. Грязно, но не слишком. Без белья, без вещей не особенно удобно лежать на голых досках. Но после войны и в разгар революции не привыкать стать! Мы ложимся вповалку и пытаемся уснуть, тесно прижавшись друг к другу. Только 3—4 человека, которым места не хватило на нарах, сидят на подоконниках, смотрят в густо замазанные белой краской окна или бродят по этим огромным казармам, как сонные, осенние, тоскующие мухи.

Нас 105 человек; всего 4 безпартийных, остальные меньшевики. Интересно рассказывал бывший социал-демократ З., как он сюда попал. Он известный публицист, жил в Киеве и вышел из с.-д. партии, работал в кооперации и на разных курсах. Неожиданно Исполком получает телеграмму от Троцкого, который требует розыска З. и немеделенной доставки его в Москву для работы в Росте. Вот З. и прибыл в Москву и первым делом решил ознакомиться с достопримечательностью Москвы, пришел на Лубянку и долго и почтительно смотрел на здание

ВЧК. Не рассчитывал он, что в тот же вечер ему удастся познакомиться с внутренним устройством Чеки. Но судьба сулила иное. Он зашел в клуб «Вперед», чтобы повидать старого друга и вместе с ним попал в Чрезвычайку. Из 101 меньшевика было до 30-ти рабочих, — компактная группа печатников и другие. Наряду с юными моложе 18-ти лет членами Союза молодежи были старики, которым вот-вот стукнет 60 лет. По статистике, проведенной в камерах, за годы революции в партию вступили только 30 человек; остальные имеют почтенный партийный стаж: 42 состоят членами партии от 15 до 20 лет, 8 от 20 до 30 и 2 — родоначальника социал-демократического движения. Не подвергались аресту при самодержавии 38 человек; остальные были арестованы: 22 по одному разу, 13 по 2, 11 от 3-х до 5-ти раз, 18 от 5 до 10, 3 свыше 10 раз. На каторге были 2, а в ссылке 23. Статистика установила также, что при большевистской власти в 1-ый раз арестовано 47 человек, во 2-ой — 30 человек, от 3-х до 5-ти раз — 25 человек, более 5-ти раз — 3 человека. Ясно, что среди арестованных — видные социал-демократы, активные деятели революции.

Мы сидим день и другой в этих огромных казармах. Пьем чай. Кормят скудно, но к обеду почему-то дают огромное ведро советского компота. На следующий день уже стали приносить продовольственные передачи, и мы для удобства разделились на небольшие коммуны в пять-шесть человек, лежащих рядом на нарах. Томительно, бездельно, очень шумно. Но понемногу мы начали свыкаться и искать развлечений. Мы были предоставлены самим себе, начальство почти не появлялось. Только в коридоре, устроенном в виде палубы, окруженной перилами, стоял дежурный чекист и солдат. Из этого коридора, наклонившись у перил, мы видели знаменитый корабль МЧК, «корабль смерти». Говорят, туда привозили на краткие сроки смертников. Можно представить себе, с каким недоумением прислушивались

временные жители корабля к тому непрестанному гулу и гаму, который шел сверху из меньшевистских камер.

А у нас в камерах действительно шел дым коромыслом. Как счастливые, мы часов не наблюдали и не знали различия между днем и ночью. Неведомо откуда стали выплывать таланты, и с каждым часом их открывалось все больше. Вначале образовали хор, которому подпевали все 100 человек. Затем появились солисты: печатник Д. в народном жанре и С., свиставший этюды Шопена и арiи из всевозможных опер. Наконец, была организована живая газета, в которой причудливо сочетались политика и мемуары с музыкой и сатирой. А когда публике надоедал легкомысленный жанр, мы выслушали ряд исторических докладов. О чем только не услышали стены МЧК? О народовольцах на каторге по неопубликованным данным, о Кронштадтском восстании 1906-го года, о восстании солдат в Екатеринославе, о Лондонском и Стокгольмском съездах РСДРП, о редакции Бундовского органа «Наша трибуна», о побеге из тюрьмы в корзине и пр. и пр. Кто-то вспомнил, что умер старый Д. Кольцов, член группы «Освобождение Труда», и мы устроили собрание, посвященное его памяти.

ВЧК образовала смешанную с МЧК комиссию для нашего допроса. Во главе был поставлен чекист Самсонов, рабочий, кажется, бывший анархист. Допросы были безобразные. Допытывались о происхождении, — пролетарском или буржуазном, отпускали шуточки насчет буржуев. Неожиданно прозвучала антисемитская нота. Рабочего, члена Центрального Комитета, Самсонов спросил:

— Как это вы попали в общество адвокатов, врачей и евреев?

Следователь Рамишевский заметил одному юноше:

— Ваш отец врач, следовательно, буржуй.

На что юноша ответил:

— Это не так важно; гораздо важнее, что у вашего отца — сын мерзавец.

Но все же решили, повидимому, освобождать. С членами ЦК и МК пытались завести политические беседы, но это ни к чему не привело. Тогда чека решила их выпустить на свободу, оставив рядовых членов партии в тюрьме. Но члены обоих комитетов решительно отказались выйти на свободу до выпуска всех. Тогда чека предложила рабочим выделиться в отдельную группу для освобождения. Рабочие, конечно, отказались. Освобождение носило случайный и индивидуальный характер. Сидим всю ночь, поем, ждем возвращающихся с допроса, с энтузиазмом провожаем освобожденных...

Вдруг и меня вызывают. Я надеваю пальто и иду на допрос через улицу в ВЧК. Там, в знакомой комнате секретно-оперативного отдела знакомый следователь Журавченко говорит, что меня вызвали в качестве свидетеля по делу меньшевика, арестованного на днях в Смоленске и привезенного в Москву. Речь шла о докладной записке, поданной весной 1920 г. английской рабочей делегации Центральным Комитетом Союза Служащих, членом которого я тогда состоял, и которую в Смоленске огласили на местной конференции служащих.

Был уже поздний вечер, когда пришли чекисты и скомандовали нам:

— Собирай вещи! Стройся!

Мы направлялись в Бутырки.

Почти все женщины были освобождены, только четверо присоединились к нам. Из нашего мужского состава убыло человек 20. Мы наполняли улицы непривычным шумом. Окруженные большим конвоем, мы пели «Вихри враждебные». Это напоминает дореволюционную манифестацию. Была уже поздняя ночь, когда нас приняли знакомые стены Бутырской тюрьмы.

III. В БУТЫРКАХ.

Как всегда, тюрьма была переполнена. Нас поместили в карантин в целях санитарной изоляции. Но какая там изоляция! Бани не функционировали, а в камерах тесно, грязно и немало насекомых. Мы с трудом расселились в трех камерах и усердно хлопотали о переводе нас на общее положение. Это имело еще и другой смысл. Там политические сидели при открытых камерах и коридорах, свободно бродили по тюрьме гуляли весь день вместе. Мы были на запоре в одном тесном коридоре и сильно тосковали по общению с другими заключенными. Наконец, нас перевели в спешном порядке из карантина, и мы, расселившись по двум коридорам и Мок'у (мужской одиночный корпус), причастились ко благам бутырского режима. Гуляем весь день по двору, бродим по всей тюрьме, по общим коридорам, по Мок'у и Жок'у. Камеры открыты, коридоры не запираются. В Мок'е в одиночках совершенно выбиты замки, и комическое впечатление производят дежурные тюремщики со связками ключей у пояса. Этот свободный тюремный режим был добыт кровавыми усилиями, голодовками, баррикадными боями, дипломатическими переговорами с ВЧК. Об этой борьбе с тюремным режимом сложились буквально легенды. Анархисты и левые эс-эры, составляющие тюремный демос, приписывают себе разложение режима, — но правые эс-эры только улыбаются при этом, полагая, что без них победа над ВЧК не удалась бы.

К весне 1921 года среди политических оказались, за вычетом немногих офицеров, десятка беспартийных кооператоров и группы толстовцев, главным образом, социалисты и анархисты, в том числе до 100 правых эс-эров, до 50-ти левых эс-эров, до 50-ти анархистов разных толков (махновцев, синдикалистов-набатовцев, универсалистов и пр.). И с нами прибыло до 100 меньшевиков. В общем, тон задавали правые эс-эры, к ним прислушивались власти. Еще

недавно, в тот день, когда ВЧК опубликовала приказ, что ввиду слухов о возобновлении террора, за каждый волос с головы коммуниста ответят своею жизнью находящиеся в тюрьме эс-эры, — утром того же дня прискакал в Бутырки Дзержинский, явился в камеру к Гоцу и Тимофееву и заверил их, чтобы они не беспокоились, что приказ ВЧК — это только «высокая политика», не больше, чем жест. Тогда же видные эс-эры получили письмо от Каменева, желавшего с ними побеседовать. Все это, конечно, скоро становилось тайной полишинеля. Администрация Бутырок окончательно терялась, и была доля правды в утверждении, что хозяева внутри тюрьмы не начальник и его помощники, а заключенные социалисты. Маленькая, но характерная иллюстрация: значительное число камер Мок'а было выделено в распоряжение политических. И бюро фракций уже само распределяло их пропорционально между социалистами и анархистами. Жили в тюрьме, конечно, фракциями. Каждая фракция имела своего старосту, бюро и свои фракционные собрания.

Любопытно, что в тюрьме была и фракция коммунистов. Это были проворовавшиеся комиссары, советские служащие — взяточники, чиновники, сидевшие за преступления по должности. Среди них немало бывших чекистов, следователей и пр. Они гордо называли себя коммунистами, имели партийное бюро, занимали 13-ый коридор и пользовались покровительством начальства. Даже тюремный рояль находился в их распоряжении на предмет устройства вечеров. К этим коммунистам ездили в гости именитые сановники, выступавшие с речами. Ждали даже Зиновьева. Любопытно было наблюдать торжественное шествие 13-го коридора по двору к воротам. Они заимствовали у нас обряд проводов освобождающихся. Поют «Интернационал», говорят речи, кричат ура в честь советской власти. Рассказывают, как освобождали одного из этих коммунистов, бывшего жандарма. В воротах он произнес

речь в честь социальной революции. Ему отвечал коммунистической речью, посылая привет Коминтерну, один из остающихся в тюрьме коммунистов, тоже бывший жандарм, подчиненный первого по службе при самодержавии... Как-то случилось, что один рабочий, коммунист, который попал в чеку за ...«сапоги Чернова», найденные у него при обыске, был привезен в Бутырки и доставлен в 13-ый коридор. На следующий день он оттуда вырвался и был водворен к меньшевикам, которые, поколебавшись, приняли его к себе.

Как в муравейнике, бурлила жизнь в социалистических Бутырках. Внутри Бутырок неограниченно царствовали свобода слова, печати и собраний. У нас, меньшевиков, была организована партийная школа. Два кружка изучали «Капитал» Маркса, один кружок — «Финансовый капитал» Гильфердинга. Читались циклы лекций по истории социал-демократии, по историческому материализму, по социальной политике и профессиональному движению. Мы обсуждали текущий момент и писали листовки для распространения на воле. Постоянные собрания, дискуссии, доклады. Мы усердно спорили о методах борьбы за наше освобождение. Когда в Москве были назначены перевыборы Совета, мы обратились с протестом и требовали освобождения. Мне пришлось по поручению фракции вести переговоры с начальником тюрьмы. Я принес ему наше заявление, направленное в три адреса: в Московский Совет, в ВЦИК и... Фридриху Адлеру для Венского Интернационала. Начальник тюрьмы обещал немедленно послать в Наркоминдел для пересылки Адлеру, но категорически отказался соединить меня по телефону с Каменевым, председателем Московского Совета. Он только позвонил в президиум откуда обещали немедленно прибыть за заявлением арестованных членов совета — меньшевиков, так, чтобы оно попало к назначенному в тот день заседанию президиума совета.

Помимо оживленной политической деятельности, в тюрьме была широко поставлена культурно-просветительная работа. В 12-ом коридоре, наиболее вместительном, был устроен тюремный университет, где преподавали по всем отраслям знания и где ежедневно читались лекции по истории, литературе, сельскому хозяйству, кооперации и пр. Главный контингент слушателей поставляли правые и левые эс-эры, среди которых было много крестьян. Рабочие социал-демократы тоже поспешили записаться на лекции. Но, кроме просвещения, в Бутырках процветали и искусства. Часто устраивались вечера и концерты (за отсутствием инструментов довольствовались пением и свистом). Эс-эры давали свои инсценировки с декорациями и в костюмах «Кому на Руси жить хорошо» и «Совнарком» (с выступлениями Ленина, Коллонтай и др.). Меньшевистская фракция, жившая несколько изолированно, имела свой хор, живую газету, своих юмористов и поэтов. В годовщину мартовской революции в Бутырках состоялся большой вечер с политическими речами. Кооператоры и эс-эры часто созывали собрания крестьян. До 2-х—3-х часов ночи ключем била жизнь в социалистических коридорах и в камерах Мок'а, где ютились наиболее почтенные и пожилые социалисты и анархисты.

Казна кормила нас плохо. Хлеба выдавали немного, а баланда была традиционная, отвратительная. Тюрьма буквально страдала от голода. Политическим помогал Красный Крест в лице Е. П. Пешковой и М. Л. Винавера, часто посещавших тюрьму, но огромное население тюрьмы было предоставлено своей собственной участи. У фракций были организованы продовольственные коммуны, а нам, меньшевикам приносил обильные продукты наш клубный партийный Красный Крест: ведра повидла, конскую колбасу, иногда хлеб и картофель. Как-будто нарком продовольствия распорядился о выдаче социалистам продуктов. Сношения с волей были регулярны

и часты. Газеты доставлялись ежедневно; книги, иностранная пресса, нелегальные русские издания, все попадало в Бутырки. Свидания у социалистов были особые, без решеток. Недавно еще сажали при свидании по обе стороны стола, но стол был отодвинут, как излишняя помеха, против воли начальства. Так же самовольно были организованы торжественные проводы освобождаемых. От камеры счастливца до ворот проходили стройным маршем через весь двор — туда и обратно, с пением песен, с хором впереди. Эс-эры обычно присоединялись к шествию меньшевиков. Но иногда проводы объединяли всех, и строптивых леваков, и чужаков-анархистов. На проводах у каждой фракции пелись свои излюбленные песни. Эс-эры предпочитали петь торжественное, несколько на церковный лад «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою». Меньшевики пели «Вихри враждебные» и полюбили заимствованных у эс-эров «Кузнецов». Леваки пели «Всероссийскую коммуну», а анархисты свой марш «Под знаменем черным». Впрочем, леваков и анархистов редко освобождали, и свои песенки они пели чаще на кирпичах, греясь на апрельском солнце на бутырском дворе.

Но, конечно, внешнее благополучие тюремной обстановки не могло скрыть внутренней тревоги индивидуальных драм, разыгрывавшихся в тюрьме, и сложности политического положения в стране, к которому так чутко прислушивались политические узники. Повидимому, забастовочная волна в Москве улеглась. Но в Кронштадте произошел мятеж, и в Питере заволновались рабочие массы. Нам стало понятно, почему прекратились освобождения, и что нас будут крепко держать в тюрьме. Скоро получились материалы, из которых мы узнали все о кронштадтском восстании, в частности то, что тщательно скрывалось властями, что во главе восстания было до 300 членов коммунистической партии. Непосредственно за Кронштадтом открылся съезд РКП, и началось

«отступление». Вряд ли коммунисты с таким интересом следили за событиями на съезде РКП, как следили тюремные узники. Отказ от разверстки, свобода местного оборота, одним словом — нэп был дополнен отказом Ленина от ориентации на мировую революцию. Кое у кого зародились надежды на сдвиг, на эволюцию, на реформы. Жестокая расправа с кронштадтцами, да и наше благополучное пребывание в тюрьме подрывали всякие иллюзии. По-видимому, коммунисты решили экспроприировать наши идеи, авторов же их, меньшевиков, «бережно держать в тюрьме», как выразился Ленин в своей брошюре о продналоге.

В ВЧК произошли перемены: Дзержинский был назначен комиссаром путей сообщения, его заменил Уншлихт, один из вождей польской социал-демократии, в период неудавшегося похода на Варшаву назначенный Москвой в состав Польского Ревкома. Не знаю, находится ли это в связи с переменами в ВЧК, но наша фракция получила неожиданно ощутительный удар в виде приговора Верховного Революционного Трибунала по делу ростовских социал-демократов, получивших 5 лет тюрьмы с принудительными работами. Коммунисты придавали большое значение этому процессу, и в «деле» ростовцев был найден документ, написанный особоуполномоченным ВЧК Клайзнером о том, что, по его мнению, судить ростовских меньшевиков должен Ревтрибунал «при специально подобранном составе исключительно твердых коммунистов — старых большевиков». Естественно, что Крыленко требовал смертной казни. Руководитель ростовской социал-демократии Б. С. Васильев ответил ему в своей речи:

— Мы не раз слышали эту угрозу и до революции от царских палачей — жандармов, и в дни гражданской войны. И не нас, слыхавших рев льва, испугать криком другого животного...

После процесса суд решил отправить ростовцев в Таганку, и в Бутырки они заехали лишь за своими

вещами. Но у нас было настроение во что бы то ни стало добиться оставления их в Бутырках. Мы всей массой бросились в контору, но ворота были заперты. Благодаря решительному характеру А. Р. Гоца, потребовавшего у тюремной администрации их оставления в Бутырках, начальство поколебалось, и мы толпой надвинулись на ворота, сшибли стражу и очутились перед дверьми конторы. В тот же вечер в многолюдном собрании всех социалистов ростовцы рассказывали подробности о процессе.

Незадолго до того меня неожиданно вызвал уполномоченный ВЧК Журавченко все по тому же злополучному делу. Теперь уже я не свидетель, а обвиняемый. Формулировано обвинение так: «обвиняется в распространении докладной записки английской делегации, имеющей целью вызвать массовое недовольство в рабочей среде и содействовать успеху внутренней и внешней контр-революции».

Докладная записка действительно существовала и была подана английской делегации группой членов Центрального Комитета Всероссийского Союза Служащих. Она трактует о насилиях, произведенных органами власти и коммунистической партией над союзом служащих в Петербурге, Москве, Самаре, Харькове и мн. др. местах, в результате чего уничтожена всякая тень свободы и независимости профессиональных союзов. Я должен был эту записку огласить на знаменитом митинге печатников, где неожиданное выступление нелегального В. М. Чернова сломало весь порядок дня. И вот сейчас, спустя восемь месяцев после отъезда английских рабочих, ВЧК расправляется с нами. Я заявил следователю, что являюсь автором записки и требую вызова Томского и Лозовского свидетелями для подтверждения указанных в записке фактов. Однако Журавченко отказался выполнить мои требования, и я оборвал беседу, унося с собой опасение, как бы коммунисты не скушали меня под соусом сношений с английской

делегацией. Интересно, что Красин в письме к Рабочей Партии Англии развязно утверждал, что преследования социалистов отнюдь не связаны с информированием ими англичан.

IV. ГОЛОДОВОЧНЫЙ ПСИХОЗ.

В тюрьме всегда так: голодовки принимают форму эпидемий. В одном коридоре возникает голодовка по личному поводу, мотивированная исключительными индивидуальными причинами, другой коридор тотчас же откликается голодовкой. Эпидемия от отдельных лиц распространяется на группы, от групп переходит к целым коллективам. После того, как социалисты и анархисты длительной голодовкой добились смягчения режима для себя голодовки, как орудие борьбы с чека, приобрели популярность среди большинства заключенных, каэров, педеков, спекулянтов. Изредка голодовки устраивались с требованием допроса или предъявления обвинения. Обычно голодали во имя освобождения, мало интересуясь вопросом о тюремном режиме. Впрочем, тот обыватель, который в годы революции и гражданской войны заполнил тюремные здания, в душе, вероятно, был противником расшатывания режима. Ведь когда-нибудь наступят лучшие времена, и для преступников против священного права собственности нужны будут тюрьмы настоящие, с крепкими замками и строгими порядками. Но постепенно обыватели стали заражаться примами политических, матерых тюремных волков и стали «надоедать» чеке своими требованиями, угрозой голодовок и самой голодовкой. Эти голодовки периодами становились так часты, что чека, вначале нервно реагировавшая на них, понемногу приучилась все спокойнее и равнодушнее относиться к ним. Если прежде следователь приезжал уговаривать, чтобы не голодали, за день до приступа к голодовке, то сейчас, раньше чем

на третий день голодовки никто из чека не являлся. Бывали случаи, что только на шестой день приезжали впервые из чеки для переговоров, подрывая, таким образом, значение голодовки, как орудия воздействия на чеку. Голодовка часто становилась неразумной, заранее обреченной на неудачу. Но кроме того, это орудие борьбы было до известной степени дискредитировано. Содействовали этому преимущественно спекулянты, которые приступали к голодовке и бросали ее посередине или тянули голодовку официально 18 дней и даже больше, тайком подкармливаясь. Чека перестала совсем обращать внимание на такие подозрительно-затягиваемые спекулянтами голодовки.

Правые эс-эры относятся отрицательно к голодовкам за освобождение. Они сидят год, два, давно уже перебесились и считают, что на чеку это уже не действует. Голодать можно только за изменение режима, — да и то лишь, если другие пути отрезаны. В эс-эрах, конечно, говорит опыт умудренных людей. Новички более страстно и более наивно расценивают положение. У них все кипит, бурлит, протестует. Они еще не присмирели. Они хотят вести борьбу за свободу и верят в победу. Таково настроение большинства заключенных в первый месяц. Первая голодовка при нас была объявлена группой толстовцев, привезенных из провинции и взятых за участие в губернском кооперативном съезде. Они сидели уже пятый месяц без обвинения и допроса. Среди них оказалось два социал-демократа, взятых в качестве толстовцев, — вот почему нам в бюро фракции пришлось заняться этим вопросом. Бюро было предоставлено право решать вопросы об индивидуальных голодовках. И надо сказать, что мы сейчас же были окружены атмосферой острого психоза, к нам посыпались бесконечные заявления о желании голодать. Конечно, все случаи были исключительные, и каждый имел право бороться за свободу путем голодовки. Но мы не учли целого ряда об-

стоятельств, и нам скоро пришлось взять на себя роль уговаривающих отказаться от голодовки. Мы не сообразили, что в сущности всякая голодовка неизбежно втягивает остальных и таким образом превращается в общую. Ведь не могут товарищи молча следить, как будет бороться один. Из солидарности придется его поддержать в трудный момент. Но, помимо этого, обилие голодающих ослабляет шансы на выигрыш каждого в отдельности. Но так сложны личные мотивы и так неделикатно вмешиваться в интимную жизнь...

Бюро фракции разрешило примкнуть к голодовке толстовцев двум социал-демократам, так как нельзя было их отрывать от товарищей по делу. Они послали в чека заявление о голодовке. Сейчас же приехал следователь и обещал, что через три дня их дело будет закончено, тогда их, верно, выпустят. Через три дня толстовцы снова приступили к голодовке, но чуть ли не на следующий день их начали освобождать. Затем бюро фракции разрешило объявить голодовку двум другим товарищам — одному, требующему освобождения, в виду внезапного психического заболевания матери, и другому, у которого жена была арестована и неведомо куда запрятана чекистами. Первый добился освобождения, а жена второго была доставлена к нему в Бутырки. При таких удачах естественно усилились в нашей среде тенденции в пользу голодовки. Наростало настроение активное. Мириться с лишением свободы казалось позорным и бессмысленным. Циркулировали слухи, что социалистов и анархистов развезут в провинциальные тюрьмы, так как при них невозможно восстановление режима в Бутырках. Были все основания ожидать репрессий после подавления Кронштадтского мятежа. Так лучше же не ждать безропотно, а выступить в бой. Поставить коммунистов перед фактом большой меньшевистской голодовки. Особенно настаивала на голодовке молодежь.

Какое оживленное собрание состоялось в большой камере 11-го коридора. Какие острые развились дебаты! Как бушевали страсти! Как незаметно переходили от защиты идей на личные выпады. В темном коридоре был установлен патруль. Мы обсуждали проблему голодовки тайком, конспиративно, чтобы начальство не узнало и не устроило сюрприза вроде развоза. У нас было постановление ни слова не рассказывать о возможной голодовке даже приятелям из других фракций. Вероятно, никто не рассказывал, но стоило эс-эрам посмотреть на наши значительные, конспиративные физиономии, чтобы понять, что мы переживаем детскую болезнь тюремной жизни. Доводы в пользу голодовки питались «левой» оценкой ситуации. В частности, предполагалось через Мартова и Абрамовича информировать социалистическую заграницу, под давлением которой коммунисты не устоят. Противники голодовки выдвигали против нее целую кучу практических соображений. Так, указывали на наличие в нашей среде старых социалистов, достаточно уже изведавших тюремные голодовки, которых надо пощадить, — и много молодежи, хрупкий организм которой после голодных московских зим не приспособлен к голодовкам.. Больные,—которые, конечно, будут тяжелым балластом и могут сорвать голодовку. Сообщали, что у одного больного товарища брат в свое время сошел с ума под влиянием тюремной голодовки, — и это должно было предостеречь активистов. Точно также было связано много сложностей с характером и длительностью голодовки: голодовка до конца или голодовка борьбы (не до истощения), так рисовалась перспектива. И если, с одной стороны, все эти доводы понижали настроение, то, с другой стороны, многие так рьяно рвались в бой, так не склонны были мириться с пассивною ролью узников и так хотели верить в победу, что большинство высказывалось в пользу голодовки. Собрание постановило произвести тайное голосование и решить во-

прос о голодовке в положительном смысле только при наличии квалифицированного большинства в $^2/_3$ голосов во фракции. В тот же вечер до поздней ночи при разыгравшихся страстях было проведено голосование. Было подано свыше 90 записок; за голодовку высказалось больше половины, но меньше $^2/_3$. Тогда взволнованные сторонники голодовки потребовали созыва нового собрания, нового обсуждения положения и повторного голосования. Но тут противная партия развила большую агитацию, и при новом голосовании число записок в пользу голодовки как-будто даже несколько упало. Так после бурной и ожесточенной борьбы был изжит на этот раз в меньшевистской фракции вопрос о голодовке.

Но в общей тюрьме, живущей отдельно от социалистических камер, свила себе прочное гнездо эпидемия голодовок. Тюрьма была густо заселена. Из особого отдела ВЧК постоянно подсыпали новые партии. Множество лиц сидело по приговорам Ревтрибунала и было перечислено в ведение тюрьмы. Еще больше было народу случайного, непричастного ни к политике, ни к спекуляции, взятого просто здорово живешь. В Москве и Петербурге продолжали практиковаться засады, дававшие большой улов. За последнее время начался снова приток иностранцев, подозреваемых в экономическом шпионаже. Мы застали длительную голодовку польского коридора, по поручению которого с ВЧК вел переговоры Красный Крест. Человек 60 поляков долго голодали и добились своего. В связи с Кронштадтским восстанием в Петербурге была объявлена обязательная регистрация всех офицеров флота. Потом всех, кажется, до 600 человек, арестовали и разослали в разные концы. Большая группа офицеров попала в Бутырки. Среди случайных жителей тюрьмы мы встречали артистку Художественного театра, которая читала у нас на небольшой вечеринке «Двенадцать» Блока, и одного артиста, помогавшего социалистам готовить празднество 1-го мая в тюрьме.

Мы собирались устроить торжественный праздник на открытом воздухе с речами и знаменами... Вся эта огромная 2-хтысячная масса тюремного населения находилась в самых тяжелых условиях заключения. Многие не только не были допрошены, они считали себя забытыми в тюрьме. Камеры заперты весь день, как и коридоры. А тут весь день под окнами греются на солнце привилегированные социалисты. Сидят грязно и скученно. Редкие свидания происходят через две плотные сетки. Кормят плохо, царит сплошной голод. Тюремная администрация груба, и режим жестокий. Вынужденные отступить на социалистическом фронте, тюремщики вознаграждают себя на общих коридорах.

Неудивительно, что эпидемия голодовок охватила общие коридоры и постепнно вылилась в огромное движение. Это было в средних числах апреля. Вся тюрьма предъявила ультиматум чеке, угрожая на следующий день приступить к всеобщей голодовке. Требования были такие: открытие камер в пределах коридора, ускорение следствия и допросов, изменение меры пресечения. Делегаты отдельных беспартийных камер зондировали почву у социалистов. Мы объявили нейтралитет, но обещали свою поддержку, если в ней будет нужда. И вот началась голодовка. Приняло в ней участие большинство заключенных. Голодающих было свыше тысячи. Начальство не дуло себе в ус и никаких шагов не предприняло, чтобы предупредить голодовку. У ворот, по распоряжению чека, был поставлен пулемет. Те из голодающих, которые выполняли разные работы в тюрьме, были заменены штрейкбрехерами из 13-го коммунистического коридора. Прошел день, второй и наступил третий. Голодающие решили к 12-ти часам дня приступить к обструкции. Ужасное и незабываемое зрелище представляла собою тюрьма в течение нескольких часов. В камерах стучали по мебели, по решеткам, барабанили в дверь. Затем стук перешел в крик, и в течение трех часов вся тюрьма

кричала, вопила, выбиваясь из сил, как бы взывая о помощи. — Го-го-го! — вырывалось из тысячи глоток, и все голоса покрывал высокий женский голос певицы из Жок'а. Жутко вспомнить картину, которую пришлось наблюдать со двора. На окне, у решеток, тесно прижавшись друг к другу, теснятся человеческие лица: они бьют с ожесточением по решеткам, они вопят нечеловеческим голосом, — не «плененные звери», а люди, засаженные в клетку. Крик на минуту ослабевает, но сейчас же опять льется высоко и страстно. Зажимаешь уши, бегаешь, как раненый зверь, в углу камеры. На улицах, вокруг Бутырок, собрался народ. Там говорят, что заключенным не дают есть, они кричат с голоду. Я взбираюсь на чердак; сквозь дыру в крыше, вижу издали, как с разных сторон чернеют кучки спугнутого народа.

В 11-ом коридоре мы созвали заседание всех бюро тюремных фракций. Послали заявление-протест и потребовали немедленного приезда Каменева в тюрьму. Прошло несколько часов, прежде чем прибыл представитель ВЧК и вступил в переговоры с голодающими. Не помню, добились ли голодающие удовлетворения, или ВЧК их обманула, но к концу третьего дня массовая голодовка была прекращена.

V. ИЗБИЕНИЕ И РАЗВОЗ.

Скоро наступил конец нашему благополучию. Еще не успели высохнуть типографские краски статьи Мещерякова, нарисовавшего в «Правде», к сведению европейских социалистов, радужную картину Бутырских условий, как на наше мирное житье был совершен набег, и избитые, истерзанные, мы были увезены из Бутырок. Это было ночью на 25-ое апреля. У нас, меньшевиков, был юбилей, двухмесячный юбилей со дня нашего массового ареста. Мы торжественно отметили эту тюремную дату веселым вечером сатиры и юмора. До часу — двух ночи затянулся

наш праздник, и мы готовы были без конца слушать анекдоты нашего собственного юмориста. Погода была чудесная, стояла тихая весенняя ночь. Пользуясь открытыми коридорами, большая группа вышла на церковный двор, и там еще долго пелись песни, звонко раздававшиеся по всей тюрьме. Было томительно и душно, и я долго стоял у окна, прижавшись к решетке, вслушиваясь в пение. На миг мелькнула мысль, что, пожалуй, чека не очень спокойно отнесется к нашему ночному хору, но эта тревожная мысль тотчас же улетучилась. Я прилег и задремал. Вдруг, сквозь полудремоту слышу я странные звуки. Лежа с закрытыми глазами, слышу отдаленный топот, лязг и шум. Просыпаюсь, осматриваю камеру, в свете занавешенного бумагой электричества вижу спокойно спящие фигуры на койках и поворачиваюсь на другой бок. Чувствую, меня кто-то тянет за плечо. Возле стоит С. Шварц в одном белье и тихо говорит:

— Будите всех. В тюрьме большой отряд чекистов и солдат.

Вскакиваю, тихо бужу. Все встают, одеваются, уничтожают бумажки, — все делается быстро, в несколько минут. И когда мы попытались выйти из 11-го коридора в соседний 12-ый через тонкую дощатую дверь, она не открылась. Там уже стояли солдаты с винтовками. И не успели мы подумать о дальнейшем, как с грохотом, лязгом и матерной бранью вбежала в коридор толпа чекистов и солдат, вталкивая нас в камеры и требуя, чтобы мы немедленно без разговоров шли.

— Куда? Зачем? Почему ночью?

Это все праздные вопросы. Никакие объяснения не даются. На нас надвигаются со штыками, размахивают револьверами перед лицом, подталкивают прикладами, и у койки стоят с матерной бранью 2—3 солдата и чекиста. И вот уже нас тянут к дверям, по дороге угощая прикладом. Помощник на-

чальника тюрьмы Александров нагло и торжествующе улыбается.

В эту ночь в тюрьме произошли исключительные по жестокости избиения социалистов и анархистов. В Бутырки было введено свыше тысячи вооруженных людей, из которых многие были пьяны. В 12-ом коридоре, где была одна камера социал-демократов и две—три эсеровских, избивали лежащих, стаскивали с коек в одном белье и без вещей, без верхней одежды и обуви, подгоняя прикладами, волокли в сборную. В 11-ом коридоре, сплошь социал-демократическом, все старания убедить опричников дать возможность собрать вещи ни к чему не повели. Многие были сильно ранены, одного окровавленного пришлось отправить на перевязку. Из Мок'а вытаскивали на руках в одном белье, и, избивая, волокли вниз по лестнице и по дворам. В часовой башне анархисты, полагая, что начались массовые расстрелы, оказали упорное сопротивление и были жестоко избиты. Отдельные заключенные Мок'а, услышав крики в соседнем Жок'е и, основательно подозревая, что там избивают женщин, попытались унять опричников, но были сильно избиты. Банды чекистов ворвались в околодок, подняли с постели больных, даже лежавших с температурой в 39°, и поволокли их на сборную. Особенно тяжелые случаи происходили в Жок'е, где от испуга были случаи обморока, начались крики, визг, истерика, слышные на всю тюрьму. Чекисты, не смущаясь, входили в камеры раздетых женщин и стаскивали их с коек. Одну левую эс-эрку били ручкой нагана по голове и окровавленную вынесли в сборную. Многих женщин тащили за волосы головой вниз по винтовой железной лестнице с третьего этажа. Все были в изодранном белье или наскоро накинутом сверху платье, с кровоподтеками на руках, с царапинами и ссадинами на всем теле.

В сборной происходило дальнейшее. Там стояли с злорадными улыбками руководители ночного на-

бега Самсонов, Кожевников, Рамишевский, палач Рыба, две женщины, вооруженные до зубов, тюремная администрация во главе огромной толпы красноармейцев с красными звздами на груди и на шлемах. Тут происходила сортировка направо и налево. При моем появлении Рамишевский улыбнулся, назвал мою фамилию и крикнул:

— Налево, к Хрусталеву.

Конвоиры толкнули меня влево, и я очутился в боковой длинной комнате, в обществе избитых и истерзанных товарищей. Мне стало стыдно, что я одет и захватил с собой вещи. Вокруг было зрелище ужасное. Мужчины в одних разорванных в клочья по всей спине рубахах, кальсонах, дрожащие от холода и пережитого кошмара, кутающиеся в чужие пальто. Женщины и совсем юные девушки с ужасом в глазах рассказывают, что произошло в Жок'е. Какая-то пожилая женщина из эс-эровской группы «Народ» в полуобморочном состоянии лежит на узком диванчике и мучительно произносит:

— Товарищи, я продолжаю голодовку. Знайте, я продолжаю голодовку.

Она уже третий день голодает, добиваясь освобождения мужа, беспартийного. Другая эс-эрка, молодая, с громадной косой, сидя на столе, непрерывно стонет. Она больна, у нее возвратный тиф. С бледными лицами, сжимая кулаки, в бессильной ярости, бродят по комнате в одном белье старики и юноши и ждут, что будет дальше. Передают сведения об избитых, о тяжело раненых. Особенно интересуются участью наиболее видных социалистов и анархистов, которых с нами нет. Одна социал-демократка издали увидела своего мужа, уводимого направо. Она попыталась проникнуть к нему, но ее грубо оттолкнули... Кто-то из начальства входит и предлагает отправиться за вещами. Но, повидимому, не всем это было предложено. Когда по приказу Хрусталева нас вывели в ворота и бросили в от-

крытые автомобили, окруженные конвоем, мы увидели многих без верхней одежды, без всяких вещей.

Раннее утро было холодное, пронизывающее. В первый раз проезд по Москве из тюрьмы не доставил нам никакого удовольствия. Сразу стали придумывать, как дать знать на волю о случившемся. Кто-то выбросил письмецо из автомобиля, прямо на улицу: подобрал доброжелатель и направил его по адресу. Потом уже из вагона было выброшено прямо на путь другое письмо (через отверстие в уборной), и это письмо было подобрано и доставлено по назначению. Автомобиль довез нас до Курского вокзала. Нас выстроили гуськом и повели к запасному пути, где стояло несколько вагонов. Распоряжался Хрусталев, молодой чекист, еще не привыкший повелевать. Недалеко, на ближних путях, мы увидели ряд других вагонов, и в них мелькали знакомые меньшевистские и эс-эровские лица, многие с белыми повязками на голове и на лице. Мы издали обменивались улыбками, не зная, встретимся ли еще когда-нибудь и где-нибудь.

Нас было в четырех вагонах 110 человек. Мы скоро сорганизовались, выдвинули повагонно старост и, получив возможность общения, обменялись списками. По фракциям нас оказалось: 34 меньшевика 32 эс-эра, 18 левых эс-эров и 16 анархистов.

Десяток был беспартийных, из них два военнопленных венгра, художники, оба напоминали по внешнему облику апостолов: длинные бороды и волосы, выразительные и благородные лица, — да еще группа крестьянских кооператоров, живших в социалистических коридорах в качестве уборщиков. Они были взяты заодно, в сутолоку, и никто не хотел слушать их доводов. Часть кооператоров должна была на днях предстать пред судом Московского Ревтриба, а среди меньшевиков было двое, на освобождение которых уже были выписаны ордера. Но не до этих мелочей было чекистам во время ночного набега. Все кое-как уместились на лавках, начали считать

свои раны, товарищей считать. Сидим, дышим свежим весенним ветром, веющим в решетчатое окно вагона, отдыхаем от ночного потрясеения и гадаем:

— Куда нас везут? В Курск? Да ведь там и тюрьмы нет для такого большого количества приезжих. Орел? Пожалуй. Только не верилось, чтобы после бутырского раздолья чекисты решили поместить социалистов в знаменитый катрожный централ. Быть-может, нас везут в Харьков? Но ведь оттуда сейчас пачками доставляют в Москву и совсем недавно в Таганку прислали из Харькова большую партию южан.

Хрусталев усмехается и только бросает:

— Скоро приедем.

Конвойные солдаты набрали воды в рот: им приказано не разговаривать, и они угрюмы, сердиты, как будто опасаются с нашей стороны выступлений, побега и пр. У многих с солдатами мелкие стычки. У кого-то нашелся кусок красного кумача; его привязали к решетке в виде знамени, и раздраженные конвойные пытаются сорвать штыками это знамя на остановках поезда. Но поезд снова в пути, и снова развертывается наше красное знамя. Мы поем песни хором, всем вагоном, и опять вызываем недовольство конвойных. Особенно возмущает их «Всероссийская коммуна», которую, повидимому, солдаты и чекисты знают. Но проходит время, и смягчается напряженное состояние. Мы постепенно находим доступ к сердцу конвоя и просим раздобыть кипятку. Эта материя им понятна. Нам выдают хлеба, колбасы, изюм (вместо сахару). Сейчас чувствуется, — паек не тюремный, а щедрый, чекистский. Мы пьем чай и закусываем. Но скоро снова обрываются отношения с конвоем. Солдаты опять мрачны. Из-за каждого пустяка столкновения, грубая брань, даже угрозы стрелять. Оказывается, чекисты их напугали, выдав нас за кронштадцев-офицеров и генералов, а одного бундовца даже назвав именем генерала Козловского. На станции Курск

мы узнали об этой версии, распространяемой чекистами, и там у платформы, где столпилась кучка солдат и железнодорожных рабочих, завязался своеобразный диспут. Кто-то из эс-еров успел произнести небольшую речь. Забеспокоился Хрусталев, и поезд двинулся дальше. Наступила ночь, и снова занялся день. Мы знаем уже, что везут в Орел, что там приготовили для нас губернскую тюрьму, что каторжный централ не-то закрыт, не-то обслуживает только уголовных. Настроение окрепло. Мы с бодростью смотрим в будущее.

---

2. ИЗ ЗАПИСОК ТЮРЕМНОГО СТАРОСТЫ.

I. ОРЛОВСКИЙ КАТОРЖНЫЙ ЦЕНТРАЛ.

Нас грубо вывели из вагонов, построили человек по десять в ряд, окружили сплошной цепью солдат-пехотинцев с винтовками на перевес. Не знаю, замыкала ли наше шествие артиллерия. Но отряд кавалерии был тут как тут, гарцуя по сторонам и наблюдая за порядком. Мы с трудом добились, чтобы несколько больных женщин было посажено в экипаж, и подводы для вещей. И медленно поплелись. Хрусталев с представителями местной власти проехали мимо в автомобиле, начальственно оглядывая шествие. Толстый военный, вооруженный до зубов, с рыжими усами и зверским выражением лица, — он оказался комендантом губчека и палачем, — неумело кружился на плошади, руководя нашим кортежом. Выйдя в улицы города и увидев мелькнувшие одиночные штатские фигуры, мы по строптивости запели и затянули «Под знаменем черным» — марш анархистов. Один из верховых выхватил из кобуры револьвер и направил на толпу, угрожая стрелять. И среди конвоя появилось тревожное настроение. Солдаты придвинулись ближе, со штыками на перевес, готовые по первому шагу действо-

вать. И это действие чуть-чуть не началось, когда, проходя мимо памятника Ленину, одна из меньшевичек крикнула во всю глотку, — должно быть к сведению всего города:

— Здесь привезли социалистов и анархистов из Москвы. Да здравствует социализм!..

Комендант подскакал и, угрожая ей револьвером, потребовал прекращения возгласов. Как впоследствии мы узнали, в Орле чуть ли не все войсковые части были мобилизованы по случаю нашего приезда, — приезда большой партии смертников, и был отдан приказ при малейшем столкновении без разговоров стрелять. Хорошо выглядели эти страшные преступники, особенно женщины и девушки, — их было 26, — в том числе одна седая анархистка, отбывавшая уже десятилетнюю каторгу. Да и весь первый ряд нашего кортежа состоял из благообразных бородачей крестьян-кооператоров и двух апостолов-военнопленных из Венгрии. Но как бы там ни было, власти не были подготовлены к нашему приезду. Они только-что получили телеграмму из ВЧК, были запуганы, трепетали и на всякий случай заготовили военную силу.

Уже было совсем темно, когда после 1½ часовой ходьбы (вокзал расположен в нескольких верстах от тюрьмы) мы остановились у заветного здания: оно оказалось Орловским Каторжным Централом. Сразу в памяти пронеслись видения прошлого. Здесь при царском режиме отбывал каторгу Владимир Медем, сидевший в одной одиночке с ныне знаменитым чекистом Уншлихтом. Здесь отбывал каторгу сам Дзержинский, о котором поговаривали, будто он немножко подлаживался к начальству и не особенно высоко держал знамя. Да, но здесь встают и другие воспоминания. Мы недавно читали мемуары коммуниста Генкина, который рассказывал, как безпошадно и жестоко били и пытали в одиночках централа, устроенных по новейшему типу, — так, чтобы крик заключенного не выходил наружу, по-

глощаясь стенами одиночки. Быть может, в таких одиночках и придется нам отбывать свое наказание...

Распахнулись широкие ворота. Нас встретил штатский человек, выше среднего роста, темноволосый, с жестким, энергичным лицом, в выцветшем пальто, — напоминая по виду заводского приказчика, председатель губчека, Поляков. Рядом с ним стоял очень высокий, худой, в длинном, чуть ли не до пят, форменном пальто, в фуражке с кокардой, — с бритым лицом не-русского типа и тонкими губами — тюремщик, оказавшийся, как здесь его называли, Директором каторжного централа. Они были немного растеряны, когда мы, сорганизовавшись в пути с вокзала, подошли к ним для переговоров. Нас было четверо, — выборных от фракций, и, рекомендуясь в качестве старост меньшевиков, эс-эров, левых эс-эров и анархистов, мы заявили, что требуем предварительного сговора с нами по поводу условий заключения и тюремных порядков.

Нас повели в глубину двора, мимо тюремной конторы, бани, кухни, мимо зданий с решетчатыми окнами, откуда смотрели на нас с любопытством. Наконец, мы завернули за угол и вышли на небольшой дворик, в котором с одной стороны была расположена тюремная больница, а с другой — одиночный корпус.

Все вышло скоропалительно! Тюрьма не успела подготовиться к приему гостей. Сегодня нас нельзя изолировать от уголовных. Но завтра их выселят, и нам будут предоставлены два верхних этажа в отдельном флигеле одиночного корпуса. И тотчас нас стали разводить по одиночкам, — по два в каждую, впуская и захлопывая двери. По всей тюрьме совершенная темь: в корпусе нет никакого освещения. По приказанию предгубчеки из конторы принесли коптилку, слегка осветившую длинный коридор, неприглядный и сырой, железную лестницу и галлереи вверху. Камеры оказались сырыя, пол склизкий, на

стенах пятна. Парашка — заржавленное ведро без покрышки — обязательная принадлежность камеры. Стол, табурет и койка ввинчены в стену. Один может устроиться с комфортом на койке, другому приходится спать на полу, на мешке, набитом соломой. В камере не видно ни зги; закрыты двери и форточки — и заключенные, изолированные друг от друга, начинают волноваться. Требуют хлеба, и директор централа посылает надзирателей за драгоценным продуктом. В это время раздается стрельба — со двора и внутри в коридоре. Стреляет разставленный повсюду военный караул. Оказывается, кто-то в камере приподнялся на окно, чтобы оглядеться кругом, — тотчас со двора грянул выстрел, и пуля ударила в стену у самого окна. Другой заключенный, безрезультатно вызывая своего старосту, потерял терпение и начал стучать в дверь. Караульный, недолго раздумывая, выстрелил прямо в упор. Пуля только чудом не попала в товарища, рабочего-эсера, уже однажды отбывавшего каторгу; — пройдя через форточку двери, она попала в стену.

Старосты, — мы громко спорили и ругались с начальством в коридоре, не соглашаясь с тем, чтобы и нас запирали в камеры, требуя немедленного увода солдат, требуя освещения, хлеба и открытия камер. В коридоре при свете коптилки наши разговоры иногда приобретали характер своеобразного диспута, где мы с тюремных тем незаметно перескакивали на общеполитические. Директор и младшие чины, почтительные к губчеке, не смели своего мнения иметь, но по всему видно было, что их возмущает нарушение правил и инструкций. Чего, казалось бы, разговаривать? Привели, посадили в клетки, заперли на замок — и довольно. Но Поляков был возбужден и растерян: перед ним были старые революционеры, и это ему импонировало. К тому же совершенно неожиданно он узнал в старосте анархистов знакомого по Киеву. Он явно обрадовался анархисту Барону и с недоумением сказал:

— Как же это так? В 20-м году вместе гайдамаков били, а сейчас...

Но Барон никогда не оставался в долгу и сразу брякнул ему:

— Как же это вам не стыдно служить в палачах?..

Полякову этот стиль пришелся по душе. Он успокаивал нас и сказал директору централа:

— Пойдемте со старостами в контору, и там мы обо всем договоримся...

Мы обошли свои камеры, по возможности успокаивая чрезвычайно взволнованных товарищей, и длинными коридорами направились в контору тюрьмы. В душе было тяжелое чувство тоски и безнадежности, сознание, что вряд ли удастся добиться лучших порядков. Но прежде всего нас волновал вопрос о выстрелах, встретивших наше появление в централе.

В конторе нас было человек десять. От тюремной администрации двое — директор Саат и его помощник Лесничий, рябой человек, робкий с властями и, вероятно, жестокий с подчиненными.

Он — давнишний служака Орловского Централа, опытный тюремщик, как и Саат, долгие годы служивший на Ярославской каторге. Остальные тюремщики куда-то стушевались и отсутствовали. Кроме уполномоченного ВЧК Хрусталева и Полякова, еще присутствовал заведующий секретно - оперативным отделом Губчеки Гордон. Синяя суконная форма, обшитая красным галуном, все же не делала его похожим на заправского жандарма и не могла скрыть еврейского облика. С первых слов он отрекомендовался мне бывшим сионистом-социалистом, пошедшим в Чеку по совету известного левого эсера, бывшего комиссаром юстиции (которому он, кстати, приходится родней). У стола сидел специально вызванный начальник тюремного конвоя, темпераментного и буйного нрава офицер с армянской фамилией. На заднем плане в позе готовности и исполнительности семенил ногами, не осмеливаясь сесть, ко-

мендант Губчеки, — немец, перешедший из германской контр-разведки в русскую во время войны, говоривший на нелепом смешанном немецко-польском диалекте. Впрочем, говорить ему не полагалось.

С этим синклитом пришлось нам в первую ночь столковываться. От эсеров был Н. И. Артемьев, один из участников известного процесса. Он считался опытным дипломатом. Матрос И. А. Шебалин, старый каторжанин, мало расположенный к дипломатии, должен был давить своей решительностью и боевым тоном, — он представлял левых эсеров. Анархист Барон все свои выступления начинал так удачно, что начальство сразу бывало убеждено, но заканчивал свои речи такой резкой выходкой, что начальство тотчас же переставало колебаться. Я был от социал-демократов, но мы сочинили еще одного старосту — от женщин всех фракций, и эту роль выполняла меньшевичка Н. Н. Центилович. К этой пятерке представителей заключенных незаметно примкнул и меньшевик А. Д. Тарле. Скоро принесли хлеб. Лесничий поднял шум насчет нарушения инструкции:

— После вечерней поверки камер открывать не полагается.

Но Поляков только посмотрел на тюремщиков, и они присмирели. Тут нам пригодился Тарле. Мы могли быть спокойны. Он всех снабдит хлебом. Мы остались заседать, и наша беседа затянулась до двух часов ночи.

После некоторого хаоса и пререканий, мы перешли к деловому разговору. Но прежде всего о стрельбе. Начальник караула горячился, уверяя, что он солдат и обязан стрелять. Поляков успокоил его:

— Перед вами люди идейные, социалисты, анархисты, — и заверил нас, что стрельбы больше не будет.

Тогда мы изложили всю сумму наших требований: открытие камер, общие прогулки, снятие военного караула, оборудование камер, снабжение про-

8

довольствием и вещами (вещи у многих погибли в Бутырках). Хрусталев выгрузил из кармана привезенную с собою инструкцию ВЧК, о которой он, видимо, позабыл. Сам он лепетал что-то невразумительное и поспешил на поезд. Поляков с явным презрением оглядывал этого юнца из центра и принялся читать инструкцию. Она гласила определенно, что мы должны быть подвергнуты строгой изоляции; одна камера не должна общаться с другой; прогулки должны производиться по правилам централа; свидания могут разрешаться только ВЧК и письма должны итти через ВЧК. На губчеку возлагается обязанность назначать дежурных чекистов, «стойких и испытанных коммунистов», которые должны состоять при нас.

Директору очень понравилась эта инструкция. Он увидел в ней подтверждение правильности своих взглядов на нас. Полякова как бы окатило холодной водой, и он спал с либерального тона. Директор воспользовался этим и решительно отверг наши требования. Камеры должны быть закрыты; прогулки полчаса в день, группами, по десять человек. После долгих разговоров мы добились немногого: открытия камеры до вечерней поверки для одного из старост по очереди и обещания Полякова снестись с ВЧК по остальным вопросам. С трудом удалось выпросить у директора третью оправку в день; на открытие форточек в дверях он ни за что не соглашался. Было ясно, что победила тюремная инструкция. Либералы из губчеки отступили, не желая брать на себя ответственность перед ВЧК.

В полном мраке и с таким же мраком в душе возвращались старосты в одиночный корпус. Никто там, конечно, не спал. Все ждали благой вести. Но что мы могли сказать? Надзиратели торопили нас в камеры, и нам удалось быстро обежать товарищей и крикнуть им в волчек:

— Будьте спокойны. Завтра мы еще заперты, но кое-какие надежды есть.

Но что сулит нам завтра? После бутырского избиения и развоза ничего доброго ожидать не приходится. Придя к себе в камеру и лежа на полу на своем матраце, я с горечью поделился печальными итогами со своим соседом, Ф. А. Череваниным.

Через несколько дней на нас обрушился обыск. Явился Гордон в своей жандармской красной шапке с отрядом чекистов. Обыск — по предписанию ВЧК — производился поверхностно. В сущности не знают, что искать. Камеры женщин просто не обыскиваются. Старосты приглашены присутствовать при обысках. Я напоминаю Гордону, что у меня еще не были с обыском, но он только машет рукой: это, мол, неважно... Старост вызывают в контору и показывают телеграмму из Москвы от ВЧК, за подписью Ягоды. Телеграмма гласит, что высланные из Москвы социалисты и анархисты подвергнуты строгому режиму за безобразное поведение при избиении красноармейцев поленьями дров, бутылками и пр.... Так изображают коммунисты набег на Бутырки. Бесстыдство и лживость успешно конкурируют с их жестокостью!

А из Москвы уже получены первые сведения. Из Бутырок развезли во Владимир, Рязань, Ярославль. Часть товарищей отыскалась в Москве в военной Лефортовской тюрьме, в особом отделе ВЧК. Среди развезенных многие серьезно пострадали. Но врачам запрещают свидетельствовать избитых заключенных. Так, впоследствии в Ярославле подвергся суровым репрессиям врач, удостоверивший избиение бутырцев. Но, повидимому, скрыть факт ночного избиения и развоза невозможно; сведения о нем попали и в Европу, и Московский Совет вынужден создать коммунистическую комиссию для расследования бутырской истории. Нет сомнений, однако, что следствие подтвердит версию ВЧК и удостоверит, что старые социалисты и анархисты, женщины и больные избивали вооруженных до зубов и опьяневших от вина и крови чекистов и крас-

ноармейцев... Отрадно было узнать, что в Московском университете студенчество организовало собрание и даже манифестацию протеста против избиения в Бутырках. Луначарский ничего более остроумного не придумал, как закрыть университет и разослать на родину строптивую молодежь.

II. РЕЖИМ РАСШАТЫВАЕТСЯ.

Наступили томительные дни одиночного заключения. Мы заняли два верхних этажа, добились чистых тюфяков, чайников, тарелок. Прогулки получасовые, небольшими группами; на дворе весна, майское солнце, а у нас — парашка. Военный караул из коридора убран, оставлен только во дворе и изредка стреляет в стену для прекращения разговоров через решетки. Из Москвы доставили четырех женщин, взятых за оказание помощи арестованным мужьям — социал-демократам. Их вначале изолировали, но вскоре присоединили к нам. Приезжала врачебная комиссия, назначенная Губчекой по предписанию из центра; нашла у нас двадцать пять тяжело больных, из них одиннадцать активно-туберкулезных. Казенный корм ужасен: хлеб овсяной с примесью ржи, баланда из воблы с червями и пара ложек пшенной каши. Голодно! Лишь через месяц прибыл представитель Красного Креста и кое-что привез из рассчета на 30, а не 110 заключенных. Да и этому представителю Креста порекомендовали скорее убраться: как бы не случилось неприятности. С кипяченой водой неблагополучно; для кипячения куба пришлось порубить деревья на тюремном дворе, за отсутствием дров. Водопровод испорчен, как и канализация. Выгребные ямы вычищаются, и нечистоты выливаются во дворе как раз во время прогулки. Уборные грязны. А изоляция производится полностью. От Москвы, от близких мы отрезаны. За

первый месяц 110 человек получили два письма. Значит, ВЧК хоронит наши письма. Уголовные уборщики удалены. По утрам и вечерам, в час поверки торжественно и гулко звонит колокол. Директор часто обходит галлереи и проверяет, закрыты ли форточки. Он говорит о себе:

— Я формалист и должен соблюдать инструкцию.

Он, действительно, с любовью ее блюдет. Представляю себе, с какой ревностью он применял бы ее, если бы к нам, социалистам, присоединили и... коммунистов. Чекист от Губчека дежурит в коридоре день и ночь. Поляков появляется на нашем горизонте все реже и реже. Одно хорошо: с помощью открытых камер старост создается возможность организованной тактики расшатывания режима.

Однажды в два часа ночи меня будят:

— Вставайте. Приехал Поляков.

Мы собираемся на импровизированное заседание в камере анархиста Барона. Горит ночничек. Старосты в сборе. Из начальства — Поляков, юноша из Губюста, Лесничий — у дверей, как призрак, и некий рыжий, плотный детина по фамилии Гутерман, председатель чрезвычайной комиссии по топливу. Гутерман обращается к нам с следующей речью:

— Сегодня после заседания Губисполкома у нас состоялось небольшое совещание товарищей, бывших каторжан и политических ссыльных. Мы решили оказать вам, приезжим, посильную помощь. Я сам когда-то сидел в централе, и вот Лесничий меня помнит. Вместе с Медемом я был привезен из Польши. Мы знаем, тут нет оборудования, дров. Вам нужна одежда, обувь, белье. Мы постараемся все раздобыть. Только насчет ламп у нас плохо. Мы должны были для своих учреждений реквизировать лампы в частных квартирах.

Мы охотно сообщили либеральничающим коммунистам о нашей нужде. Должен тут же прибавить, что из всей этой затеи ничего не вышло. Нам

прислали немного писчей бумаги, карандашей и столовой утвари. Дрова и то не были присланы в тюрьму. Сам Гутерман куда-то исчез, а по слухам при чистке партии был даже выставлен из РКП. Поляков же долгое время пребывал в стадии колебаний. То опасаясь разгневать ВЧК, он долго не приходит в тюрьму, то, убеждаясь, что ВЧК забыла об нас, он опять появляется на нашем горизонте. То он либерален и готов исполнить малейшие наши желания, то устраивает нам типичные чекистские пакости. С конца мая начались наши победы, которые нам удалось удержать свыше месяца. Но наряду с победами бывали, конечно, и чувствительные поражения.

Помню наши продовольственные испытания. В Москве добились у Цурюпы и Халатова особых пайков для высланных из Бутырок: мяса, масла, муки и проч. Приехал в Орел представитель Креста, хлопотал об открытии отделения, стал налаживать наше снабжение, — вдруг по чьему-то распоряжению его арестовывают и сажают в поезд на Москву. Помню и другой случай, в котором Поляков сыграл предательскую роль. Однажды Поляков говорит мне:

— Губсоюз может организовать ваше продовольствие, но все зависит от засевших в Губсоюзе меньшевиков. Я им предложил снабжать тюрьму, но они боятся чеки. Я им гарантировал безопасность, но они мне не доверяют. Скажите им вы, чтобы они ничего не опасались...

Каюсь, мы убедили товарищей на воле взяться за дело, но прошло немного времени, и все находившиеся на счету орловские меньшевики были посажены в Губчеку. Поляков оправдывался и говорил, что это по распоряжению из центра. Но такую же историю он устроил с анархистами, которым вначале разрешили делать передачи, а потом их привезли к нам в централ. Комендант Губчеки мне по секрету рассказывал, что Поляков получил анонимное письмо о готовящемся на него покушении. Он струсил, окружил себя охраной, спал с оружием, — а на до-

просах у орловской анархистки все допытывались: — где бомбы?

В это время привезли в централ к нам новых товарищей. Это были 27 меньшевиков и 10 беспартийных, взятых после кронштадтского восстания в разных пунктах Донецкого бассейна. Все они были собраны в Бахмут, откуда доставлены в Харьков, где в течение трех суток стояли в теплушках и где им был объявлен приговор Цупчрезкома: высылка в Орловский концлагерь. Они пробыли два месяца в лагере и оттуда их доставили к нам. Беспартийные были чужой политический элемент и сразу стали вне нашей среды. Из меньшевиков было 12 рабочих, а остальные интеллигенты, преимущественно кооператоры.

Помню, и в отношении их Поляков сыграл предательскую роль. Сейчас же по переводе к нам донбасовцев к ним прибыл из Харькова Б. Малкин на свидание с мандатом Главного Украинского Комитета Р. С.-Д. Р. П. и с разрешением на свидание от Цупчрезкома. Свидание ему было дано одновременно со всеми, и 27 человек вело беседу с Малкиным. Но не прошло и нескольких дней, как Малкин был арестован и, просидев немного в Губчеке, был присоединен к нам... Тем не менее нужно признать, что, несмотря на постоянные сюрпризы, которыми нас баловала Чека, нам удалось исподволь, постепенно расшатать режим Орловского централа, и к июню мы уже имели режим, в большой степени напоминавший... Бутырки ранней весной этого года.

Вспоминаю, как мы расшатывали жестокий режим знаменитого централа. Базой явилась открытая камера дежурного политического старосты. С этого пункта мы начали бомбардировать. Для сношений с заключенными понадобилось открытие форточек в дверях одиночек. Надзиратели слушались старост, и то и дело отпирали и запирали форточки, пока не потеряли терпение и перестали их запирать.

Постепенно им пришлось свыкнуться с фактом открытых камер у всех пяти старост, постоянно занятых то Чекой, то продовольственными делами, хождением в контору, сбором писем и т. д. Одновременно для заведывания продовольственными запасами (у нас были фракционные коммуны, составленные из индивидуальных передач членов фракции и одна общая коммуна, в которую сдавались все получения фракции, как таковой) был создан институт экономических старост, — четыре лица, у которых фактически камеры были всегда открыты. Если политических старост надзиратели и чекисты побаивались, то от экономических им просто перепадали существенные дары. Затем мы были изолированы от уголовных, и раздача кипятку, хлеба, обеда и ужина выпала на нашу долю. Мы охотно занялись самообслуживанием, и установили дежурство по 8 человек в день на обе галлереи. Скоро нам удалось добыть от Губчеки походную кухню, которая работала на дворе и значительно подняла наше питание. Для работы на кухне мы ежедневно ставили двух поваров и двух кухонных мужиков. Скоро появились и новые чины, библиотекарь и два помбиба. Если прибавить к этому прогулку, три оправки в день, хождения в прачешную и баню, — станет ясно, что надзиратели по 2 на этаж либо должны были превратиться в perpetuum mobile, либо должны были мириться с фактом открытых камер. Одновременно нам удалось продвинуть и вопрос о прогулках. От прогулок группами в 10 человек мы перешли к прогулкам фракциями, потом этажами, потом любой комбинацией фракций. От ½ часа мы перешли на 1 час, деля его на утреннюю и предвечернюю прогулки, а с конца мая мы уже гуляли 2 часа в день, без особого надзора и проводя все время во дворе. Постепенно установились патриархальные отношения с администрацией. Мы попытались читать доклады, — но оторванность от центра, от жизни парализовала наши усилия. Советскую прессу мы чита-

ли регулярно; книги, благодаря связям на воле, были тоже у нас. Зато зарубежной литературы совсем не было. Помню, с каким подъемом мы встретили два номера газеты «Помошь», изданной комитетом помощи голодающим... К началу лета мы создали режим, неслыханный в летописях каторжного централа.

Понемногу совсем улетучился Поляков. Гордон был переведен в Ташкент в распоряжение Петерса. Появились новые лица: Зампредгубчека, матрос с грубым голосом и лицом, от которого несло винным перегаром; во время чистки партии он был исключен за хамство и пьянство. Появлялся изредка чекист из рабочих, Мирон Брянский — по кличке, по фамилии Переславский. Он был командирован в Чеку от президиума профсовета и немного конфузился своей роли. Стал посещать тюрьму новый заведующий секретно-оперативным отделом Ульянов, усвоивший себе приемы ласковых судейских, всегда с шуточкой и острым словцом на устах, всегда называя нас по имени-отчеству. Чекисты были обыкновенные, недалекие крестьянские парни. Из тюремной администрации, кроме директора и Лесничего, нам приходилось сталкиваться с надзирателем Соколовым. Он записался в партию и сделал быструю карьеру: из старших в помощники директора. Его ненавидели заключенные и сослуживцы. Надзиратели в массе сначала побаиваясь отношений с нами, скоро привыкли, прониклись к нам симпатией и уважением. Особенно хорошо умели разлагать администрацию левые эсеры и анархисты; они легко находили общий язык с простым народом: с надзирателями, солдатами, с чекистами из крестьян и т. д. В этой среде нам в первые же дни пришлось натолкнуться на сочувствующего. Это был надзиратель поляк из беженцев, мечтавший вырваться из централа на родину в Варшаву. При каком-то обыске в другом флигеле он нашел наши неотправленные письма и наше заявление в ВЦИК, шедшие нелегаль-

но на волю. Заявление было об избиении в Бутырках, и надзиратель просил разрешения прочесть его и потом отправить. Как и следовало ожидать, поляк-беженец скоро пострадал, и глубокой зимой я его встретил в Бутырках.

III. ЭПИЗОДЫ БОРЬБЫ.

Вполне понятно, что в нашей среде было много споров о тюремной тактике. Бороться ли с режимом средствами разлагающей дипломатии или путем голодовки — вот вопрос. Как только привезли нас и заперли в одиночки, созрело настроение в пользу голодовки, и каждый раз выплывал этот вопрос при всякой неудаче наших переговоров. А неудач и поражений было немало! И если среди нас, меньшевиков, не встречала сочувствия идея голодовки за изменение режима; если правые эсеры, довольно наголодавшиеся на своем веку, высказывались против голодовки, — то будирующим элементом являлись левые эсеры и анархисты, строптивые, неугомонные, готовые без всякого раздумья ринуться в бой. Левые эсеры угрожали сепаратным выступлением. Наше фракционное бюро решительно отвергло голодовку. Дважды пришлось обсуждать предложение старого печатника Н. И. Чистова, взявшего на себя инициативу по созданию «ударной группы», голодающей до конца на смерть. Общественное мнение склонилось в пользу дипломатических переговоров. В это время внезапно вспыхнул голодовочный психоз.

Первыми объявили голодовку две меньшевички, недавно привезенные из Москвы. Одна требовала соединения с мужем, сидевшим в Ярославской тюрьме; на четвертый день голодовки ее требование было удовлетворено по распоряжению ВЧК. Другая меньшевичка А. В. Васильева добивалась освобождения. Муж ея, туберкулезный, сидит в Москве и требует

от нее забот и поддержки; там же 14-тилетняя дочь, недавно перенесшая холеру. Васильева решила голодать до конца, и естественно ее голодовка стала в центре внимания заключенных. Уже идут пятые сутки; здоровье Васильевой шатко, — туберкулез, больное сердце, желудок. Переносит она голодовку с невыразимыми мучениями. Тюремный врач советует уговорить ее прекратить голодовку. Мы опасаемся за ее жизнь, неутолимая тревога охватывает нас.

Помню, стояли теплые июньские дни. Мы только недавно обрели свободу дышать воздухом тюремного дворика. Сидим в тени орешника и тихо поем. Повсюду лежат группы товарищей в арестантских одеждах, выданных нам в централе, с клеймами и номерами. У дальней стены дымит и радует взор наша походная кухня... И вот мы созываем из всех углов и камер членов фракции и совещаемся. Как быть? Многие предлагают поддержать голодовку А. В. нашим общим выступлением. Во всяком случае, нельзя оставаться в роли зрителя, когда мучается и умирает товарищ. Для других острота вопроса не в нашем поведении, а в судьбе голодающей. Быть может, прекратить ей голодовку и нам принять на себя ответственность за этот акт? Решаем: провести голосование во фракции о голодовке солидарности и одновременно поговорить с Васильевой насчет прекращения ею голодовки. Тяжелые миссии и неприятные поручения обычно выпадают на мою долю...

Из Губчека никто не появляется. Директор раздражен голодовками и категорически не соглашается оставить открытыми камеры Васильевой и мою на ночь. Я решаюсь оказать сопротивление и отстоять открытие камеры. К восьми часам вводят военный караул в тюрьму, и какой-то надзиратель по поручению директора становится у моей камеры с револьвером в руках. Но в конечном счете все образуется: обе наши камеры остались открыты на ночь; ко мне переселился фельдшер, левый эсер, с упоением рассказывавший, как он вместе с первым большевистским

комиссаром финансов Менжинским национализировал Государственный Банк в Петербурге в октябре 1917 года. Мы убеждаем Васильеву, что неразумно жертвовать жизнью, что ея жизнь нужна для мужа и дочери, что мы готовы принять на ответственность фракции прекращение голодовки. На седьмой день голодовки у нас происходит голосование: большинство высказывается в пользу голодовки, но нужных двух третей голосов все же нет. А. Васильева, узнав о нашем настроении, со слезами на глазах умоляет нас не начинать голодовки, и в конце концов под давлением всей суммы обстоятельств Васильева ночью седьмого дня голодовки выпила стакан чаю с сухарем. От имени фракции меньшевиков мы сообщили ВЧК, что голодовка прекращена по нашему решению, так как мы не считали возможным жертвовать кровожадному аппетиту ВЧК жизнью испытанной революционерки и социалистки. Через короткое время прибыл из ВЧК ордер на освобождение Васильевой.

В этот тревожный период произошел такой «административный» инцидент. Во время одного из наших собраний на тюремном дворе, дежурный чекист подошел к нам и расположился послушать. Это был приземистый рябой человек в велосипедной кепке, с лицом оспенным и тупым. Я предложил ему отойти в сторону, так как здесь собрание меньшевиков. Он возразил: ему поручено наблюдать за нашей жизнью в тюрьме, и он обязан присутствовать на собраниях. Тогда я в более резком тоне заявил ему, что чекистов мы не допустим подслушивать наши разговоры и предложил ему пойти запросить о том председателя Чеки. Чекист очень обиделся и пошел звонить Полякову. Директору он тоже жаловался и, в частности, доложил ему, что меньшевики вели разговор о каких-то бомбах на предмет взрыва тюрьмы. Это столкновение с чекистом было впоследствии нам вменено в вину, а здесь только отмечу, что товарищи из Донбаса установили с точностью, что

этот «испытанный коммунист» служил на рудниках на славном посту... городового.

А в тюрьме буквально разыгрывалась эпидемия голодовок. На заседании старостата после моей информации о голодовке, так и посыпались аналогичные сообщения. Староста анархистов, который никак не может установить, в какой тюрьме сидит его жена, ультимативно ставит этот вопрос ВЧК, угрожая через два дня приступить к голодовке. Козловцева, беременная женщина, избитая в Бутырках, перешедшая в тюрьме от левых эсеров к анархистам, объявляет голодовку с требованием освобождения. Левые эсеры ставят общий вопрос о голодовке с требованием освобождения. Совершенно неожиданно правые эсеры, которые все время противились всяким голодовкам, заявили, что они с завтрашнего дня приступают к голодовке. У них, оказывается, есть старая наболевшая претензия. Среди увезенных из Бутырок имеется старый товарищ Костюшко, женщина, больная застарелым плевритом. Фракция эсеров уже около двух месяцев добивается — и безрезультатно — либо ее освобождения, либо перевода в санаторию для лечения. И вот терпение исчерпано и жребий брошен... Так проводили мы время в разговорах и в подготовке голодовок в те недолгие дни, когда режим был расшатан и на дворе стояло солнце и лето. Одни раны закрылись, сейчас же заныли другие старые раны.

На следующий день с утра на дворе сидели молчаливые группы голодающих эсеров. А часа в три дня в этот день в контору вызвали старост. Там был Поляков и приезжий представитель ВЧК. Кратко они заявили:

— Все эсеры и шесть-семь левых эсеров (по списку) сегодня должны быть отправлены.

— Куда?

— В Москву, — последовал ответ.

Никто, конечно, не возражал. Этот увоз казался лучшим исходом. Таким путем снимается вопрос о

голодовке; в случае чего, ее можно будет возобновить в Москве. Но затем — Москва! Сколько в этом слове для сердца нашего слилось! Несмотря на завоевания и победы в централе, Москва по прежнему маячила нам, как некая обетованная земля. Там центр политики и культуры, там жизнь, а не прозябание, даже в тюрьме. Уже счастливые, эсеры стали собираться в путь дорогу, и вся тюрьма стала помогать им в этом. У нас уже успели наладиться дружеские, теплые отношения. Каждый остающийся хотел обязательно тащить на себе пожитки отъезжающего. Старостат хлопотал о снабжении продовольствием. Поляков и чекист уехали. Остался директор, торопивший сборы в дорогу и поминутно раздражавшийся заметным оживлением тюрьмы. В это время по лестнице и на балконах выстроились отъезжающие, окруженные певцами. И в честь эсеров грянул оглушительно хор на бутырский, торжественно-церковный лад: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою», сменившийся «Кузнецами» и «Всероссийской коммуной».

Волнение охватило тюремную администрацию. Забегали чекисты, солдаты с винтовками стали взбираться по лестнице. Директор, обычно гордящийся своей корректностью, с перекошенным от гнева лицом, стал что-то кричать. Но нам было не до них. Мы были охвачены твердым чувством товарищеской солидарности и взволнованы собственным пением. Директор поставил солдат у дверей корпуса и пытался помешать нашему движению по двору. Не тут-то было! Мы прошли, все 125 слишком человек, по двору, а часть во главе со старостами вышла к воротам, помогала грузиться в автомобили, целовалась и прощалась с товарищами.

Однако, все это окончилось для эсеров не особенно радостно. Их просто обманули. Вместо обещанной Москвы их отвезли через Москву в Ярославскую тюрьму. Больная Костюшко была оставлена в Москве и, кажется, посажена в тюрьму... Другие голо-

довки закончились благополучно. Козловцева была на седьмой день освобождена. Старосте анархистов Барону не пришлось объявлять голодовки, так как он получил известие, что жена его вместе с большой группой анархистов бежала из Рязанской тюрьмы. Левые эсеры уменьшились числом и оставили мысль о голодовке. Но в воздухе было уже предчувствие грозы, и тучи низко повисли над нами. Когда на другой день в тюремной церкви состоялся концерт, директор объяснил, что нас туда не пригласили в отместку за пение во время проводов эсеров.

— У вас был вчера свой собственный концерт, — шутил начальственно директор, — а у нас сегодня свой.

Но одновременно он потребовал расселения супружеских пар.

— У нас не гостиница, а тюрьма, — возвращался директор не раз к этому вопросу. — Если узнают в тюремном отделе об этом, меня прямо выгонят...

Дело в том, что Поляков в нарушение инструкции разрешил нескольким парочкам поселиться вместе, обещав прислать о том бумагу в тюрьму, но до сих пор этого не сделал. И директор каждый раз, когда чувствовал, что берет верх, предъявлял нам это требование.

Но неожиданно скоро наступила новая полоса. Это было 22 июня. Вечером, часов в 10 постучали ко мне в камеру и сообщили, что старост вызывают в контору. Я был полон самых мрачных предчувствий.

— Что за экстренность? что случилось?

Идем мы втроем. У анархистов какой-то семейный скандал, и Барон заменен в качестве старосты каким-то неопытным юнцом, с которым и сговариваться не стоит. Правда, он у них пользуется репутацией видного деятеля, чуть ли не член штаба у Махно, лицом он напоминает падшего ангела, женоподобный, медлительный. Да и староста левых эсеров, 19-тилетний юноша, обвиняющийся в поджоге

провинциальной чрезвычайки, подходит более для разговоров с нисшей администрацией, чем для дипломатии. Он тоже выбран в старосты вследствие болезни Шебалина. Идем по двору, гадаем, что будет. Если что-нибудь случится, в сущности посоветоваться не с кем. Старостата фактически нет; я могу говорить только от своей меньшевистской фракции.

В конторе два лица — Поляков, приехавший из Москвы, — повидимому, с директивами от ВЧК и директор, не могущий сдержать своего злорадства: лицо его буквально пышет удовольствием и сияет.

— С завтрашнего дня — медленно говорит Поляков — все камеры должны быть закрыты.

— Да, — не может стерпеть директор, — придется старост запереть на ключик.

— Прогулка — продолжает Поляков — группами в 10 человек полчаса в день.

— Это по распоряжению ВЧК или по вашему?— спрашиваю я.

— Безразлично! — отвечает Поляков, подымается, вручает нам большую пачку писем, накопившуюся в Чеке, и хочет прекратить разговор.

Но тут мы переходим в наступление.

— Мы с таким безчеловечно-жестоким режимом мириться не будем — говорю я. — Если с нами поступают, как тюремщики, мы ответим, как надлежит отвечать социалистам.

Поляков смущается, бледнеет, краснеет и торопится уйти. Директор торжествует и, потирая в ожидании руки, говорит:

— С завтрашнего дня вступают в силу эти правила.

— Хорошо, — говорим мы, — мы сейчас осведомим об этом товарищей.

И мы уходим. А в догонку нам бежит грузный комендант Губчеки, подходит и шепчет:

— Поляков сказал, что прогулка может быть не полчаса, а час.

Но мы только бросаем ему в ответ:

— Убирайтесь к чорту!

Возвращаемся в одиночный корпус, обходим камеры и в волчки кричим:

— Старост вызывали в контору. Завтра с утра камеры закрыты, старосты тоже. Прогулка ½ часа. Надо решить, как быть дальше.

В чем причина резкого ухудшения режима? Или Губчека получила нахлобучку за то, что распустила тюрьму? Или Поляков узнал в Москве, что в Бутырках камеры заперты, и поспешил исправить ошибку, пока начальство из центра не заметило и не подтянуло? Не подлежит сомнению, что директор централа с своей стороны все делал для восстановления нарушенной инструкции. Социалисты разлагают тюрьму, — жаловался он, — он не в состоянии нести ответственность, если так будет продолжаться. И, наконец, когда накопилось достаточно преступлений с нашей стороны (изгнание чекиста с собрания, пение во время проводов эсеров и наш отказ расселить супружеские пары, — директорский «пункт помешательства»), директор нажал на Губчеку и добился своего. Власть перешла от Чеки к директору. Поляков умыл руки. Инструкция одержала победу над жизнью. Но жизнь, конечно, тотчас же оказала сопротивление.

IV. ВСЕОБЩАЯ ГОЛОДОВКА.

Ответом на новый режим должна была явиться голодовка. Но для организации ее требовалось время. Как-то само собой вышло, что мы горделиво отказались принять получасовую прогулку, и тем самым выбили из своих рук некоторое средство общения. Решать вопрос надлежало нам, меньшевикам, как численно преобладающей фракции. Между тем, две другие маленькие фракции уже успели стол-

коваться. Утром, пробегая мимо, представительница анархистов заявила мне:

— Мы решили сейчас устроить обструкцию.

— Нет, — ответил я — этот способ борьбы не подходит нашему темпераменту. Мы устроим голодовку.

Проходит час, и анархисты сообщают, что они уже приступили к голодовке и вернули хлеб. Я разъяснил им нашу точку зрения.

— Наша фракция в 55 человек физически еще не могла сговориться. Мы, вероятно, выскажемся против немедленной голодовки, так как предварительно необходимо довести до сведения наших товарищей в Москве, и до сведения ВЧК, с которой мы вступили в борьбу.

Анархисты возмущались, ругались, но... попросили помочь им без особой огласки получить обратно хлебный паек. Левые эсеры, обычно готовые в бой, на этот раз стали мудрить и высказались против голодовки.

— Мол, не стоит терять здоровье и силы ради прекрасных глаз ВЧК...

Нашей фракции было бы очень трудно сговориться, если бы вдруг нам не повезло. В этот печальный день нас повели в баню. Правда, мы обсуждали вопрос без женщин (а их в нашей фракции было до 10 человек), но ничего не поделаешь. С некоторым трудом нам удалось освободиться от одного беспартийного донбасца, внушавшего нам подозрение, — он обязательно хотел сопровождать нас в баню. В предбаннике остались надзиратели и конвой, а мы организовали импровизированное свое собрание. Призвали к тишине, товарищи оставили свои шайки, краны перестали лить воду, — и мы в одеждах Адама стали обсуждать положение. Большинство, как и следовало ожидать, высказалось за голодовку; другого исхода не видели. Против голодовки высказались 2—3. Только потом перед за-

крытой баллотировкой в бюро и в периферии возникли разногласия, как понимать характер голодовки: идем ли мы до конца с лозунгом, — победить или умереть, — или мы предоставляем право прекратить голодовку, если наступит явная опасность для здоровья и жизни. Большинство не было склонно заранее намечать границы нашей голодовки, но в то же время считало, что в нужный момент бюро фракции принадлежит решающее слово.

Требования, которые мы предъявили ВЧК, свелись к восстановлению режима, действовавшего до 23 июня, т. е. к открытию камер от 8 до 8, к общим прогулкам и к удалению военного караула. Последнее требование было вызвано тем, что в тюрьму после изменения режима был введен военный караул. Мы назначили срок в три дня и приступом к голодовке наметили 26 июня. В эти дни мы должны были правильно организовать голодовку. Среди нас были больные: старик, страдающий астмой; двое с активным туберкулезом; один в возвратном тифу; эпилептичка с женской болезнью. Мы выделили их в первую очередь для освобождения от голодовки. Кроме того, нам пришлось освободить от участия в голодовке меньшевичку, только-что закончившую свою семидневную голодовку, и одного, правда, здорового товарища, который жил в одной камере с тифозным, ходил за ним, носил его на руках в уборную, так как у больного отнялись ноги и пр. Семь человек было исключено от участия в голодовке. Мы предложили наиболее старым товарищам, чей организм перенес уже немало тюремных голодовок, выйти из голодовки, но они, конечно, отвергли наше предложение. Мы настаивали, чтобы двое из молодежи, которым еще не исполнилось 18 лет, не участвовали в голодовке, но встретили только одно возмущение. Итак, из 55 меньшевиков выпало 7, и 48 приступило к голодовке. В тот же день объявили голодовку анархисты в числе 10 человек. Левые эсеры присоединились на 4-й день к нашей голодовке, при

этом объявили голодовку «сухую», без воды. Таким образом, 75 политических заключенных приняли участие в голодовке.

С первого момента голодовки в нашем флигеле одиночного корпуса воцарилась мрачная обстановка. Дежурный чекист с особой торжественностью обходит галлереи и заглядывает в волчки. Надзиратели насторожены; высшее тюремное начальство по вечерам после поверочного звона появляется на горизонте. Гулко расхаживают вдоль камер вооруженные солдаты. Голодающие выработали элементарные правила поведения: стараться не расходовать энергии, лежать на койках, пить тепловатую воду полстакана — стакан в день. Но в первый день голодовки нас уже ждал неприятный сюрприз. Стояла чудесная солнечная погода, а директор, как на зло, распорядился не выпускать голодающих на прогулку. Камеры оставались на запоре круглые сутки; на оправку стали выпускать не более двух камер сразу; общение сделалось совершенно невозможным. И дальше мелкие репрессии и ущемления усиливались с каждым днем голодовки. Больные, не участвующие в голодовке, приняли на себя роль уборщиков, — а с 3—4 дня голодовки уже многим товарищам стало трудно производить уборку, — но вышел приказ, запрещающий обход камер уборщикам. Библиотекарю было также запрещено разносить книги, и голодающие, таким образом, лишены были единственной утехи — чтения. Наконец, по распоряжению властей перестали выпускать старост для обхода голодающих камер. Если бы такое положение оказалось устойчивым, заключенные очутились бы в тупике, — изолированные друг от друга, предоставленные своим горьким думам и физическим недугам. Но к четвертому дню удалось на деле восстановить старост в правах, и хотя за мной, как тень, брела фигура чекиста, присутствовавшего при моих разговорах с товарищами, — я все же мог обо всем информировать товарищей, хоть немного ориентироваться

в настроении, учесть шансы голодовки и силы сопротивления.

На третий день голодовки к вечеру старост вызвали из камер. Явился представитель губчеки и сообщил, что из Москвы прибыл уполномоченный ВЧК специально по поводу нашей голодовки.

— Он пошел с Поляковым поужинать, а потом придет в тюрьму.

— Хорошо. Пусть подкрепится.

Мы сообщили товарищам благую весть и стали ждать чекиста из Москвы. К вечерней поверке, однако, приезжий не явился, и я послал ему срочный вызов, — трбование немедленной явки в тюрьму. На следующий день днем директор пришел ко мне в камеру и подтвердил, что, действительно, приехал представитель ВЧК и собирается в тюрьму. Но и в этот день уполномоченный не явился.

На пятый день нашей голодовки прибыл из Москвы представитель Красного Креста. Вызвали всех старост, и наша встреча состоялась там же в одиночном корпусе, в комнатке тюремного надзирателя. Молодая дама в белом платье, с испуганными глазами и официально-холодным видом принесла нам цветы — чайные и красные розы, которые мы отнесли в камеры голодающих женщин. Представительница Креста ничего ут шительного сообщить не могла. В Губчеке ей сказали, что все зависит от Москвы, от ВЧК. Она тоже слышала, будто уполномоченный приехал в Орел и недоумевает насчет причины его неявки. Быть может, его скрывают от нас, ждут, что мы и так поддадимся? Присутствуют при свидании чекисты, и очень трудно свободно беседовать...

Лишь к вечеру пятого дня голодовки пришел комендант Губчеки и сообщил, что вышло недоразумение. Действительно из Москвы приехал чекист, но не по случаю нашей голодовки, а для р визии дел железнодорожной чеки. Легко понять, как ударило это издевательство по нашим издерганным нервам. Рухнула надежда на то, что в Москве товарищам уда-

лось заинтересовать «сферы» нашей судьбой. ВЧК предоставила нам свободу умереть.

Внутри, в среде голодающих, атмосфера становилась все напряженней и безвыходнее. Обхожу камеры, коротко — в присутствии чекиста — беседую с товарищами. Большинство на пятый — шестой день лежит в прострации, беспомощно, раздавлено. Голодные годы в советской России не прошли даром, и выносливость ослабела. Двух товарищей, у которых голодовка протекала поистине мучительно, пришлось уже на 4-й день незаметно, без шума отправить в больницу. Один из них — старый социал-демократ, еще в 1902-м году проводивший голодовку в Екатеринославской тюрьме, жаловался: — руки и ноги отнимаются, сердце немеет. Вызванный врач высказал опасение за его здоровье. Аналогично обстояло дело с 20-тилетней барышней, которую в истерике, в слезах пришлось вынести в больницу на носилках. С одним юношей случился обморок, и мне казалось, что он страшно вытянулся и похудел за последние дни. Другой товарищ пролежал ночью в трехчасовом обмороке, — пришлось его поселить с соседом в одну камеру. Среди левых эсеров, где почти вся фракция состояла из туберкулезных и сердечных больных, уже к вечеру второго дня «сухой» голодовки появились тяжелые случаи. Меньшевики, большею частью, лежали в бессилии на койках, и при обходе с редким удавалось поговорить или, тем более, посоветоваться о положении. Встречают с надеждой во взоре, но надежда сейчас же гаснет, и потухают глаза. Бывало, садишься рядом на койку, проводишь рукой по волосам, жмешь похудевшую и горячую руку и наскоро шепчешь слова утешения...

Странное дело: все наши предварительные расчеты и представления оказались ошибочными. Интеллигенты, слабые женщины, молодежь, старики стойко переносят голодовку; рабочим приходится тяжелее, как и сильным, здоровым людям. Если бы сейчас заново организовать голодовку, пришлось бы по

иному расценивать силы и сортировать людей. Атмосфера сгущается. Освобожденные от голодовки туберкулезные товарищи больше не в состоянии оставаться зрителями, и я не мог противиться подаче одним из них заявления о присоединении к голодовке.

— Я все равно крошки хлеба в рот не беру, — убеждал меня товарищ.

Нервы у товарищей взвинчены до крайней степени, и я никогда не забуду. как при обходе камер один социал-демократат, годы сид вший в царских тюрьмах, обозвал в сердцах «мерзавцем» мою тень, сопровождавшего меня чекиста, а, когда тот выскочил из камеры, заявил мне категорически:

— Ничего больше не остается, кроме смерти. Надо кончать с собой. Я готов сегодня же вскрыть жилы. Что мучиться напрасно на потеху палачам!..

Не знаю, удалось ли мне его успокоить обещанием обсудить вопрос с членами бюро. На седьмой день голодовки из 48 меньшевиков по моему подсчету оставалось годными для дальнейшей борьбы не более 16—20 человек. Левые эсеры почти все были в тяжелом состоянии; наш товарищ, немного фельдшер, явочным порядком стал обходить камеры тяжело больных, давал мышьяку для поддерживания деятельности сердца. В это время две левых эсерки, молодые девушки, пытались покончить с собой путем самосожжения. У нас шел седьмой день, у них только третий голодовки, — но «сухая» голодовка, повидимому, ужасна по действию, а к этому психология отчаяния, в конец издерганные нервы. Они подожгли свои соломенные тюфяки. Густой дым повалил из волчка камеры в коридор; сейчас же заметили дым окружающие; и мы вынесли бедных девушек в полуобморочном состоянии. Как мне говорили, поджигая тюфяки, они пели какую-то песню, которую слышали соседи. Это было в 5 часу дня, и при этом присутствовала представительница

Красного Креста, оказавшая им медицинскую помощь.

Сам я почти не чувствовал усталости. Только ночью на 6-ой день болело сердце. Но сон обычно крепкий, а день весь занят по горло тревогами и заботами. Когда после обходов возвращаешься в камеру и ложишься на койку, перед взором проходят впечатления дня. Измученные лица товарищей, стойко и покорно переносящих страдания; гневные, страстные реплики, наростания эксцессов в атмосфере и почти у всех мысли о самоубийстве, как единственном средстве вывести советскую власть из равновесия. Получалось как бы некое соревнование: кто раньше призовет смерть и купит остальным свободу... Гонишь от себя прочь мрачные картины вокруг и хочешь хоть на минуту обрести спокойствие, свет, тишину. Где этот давно оставленный, потерянный рай? Караул со двора стреляет в стену и каждый выстрел отдается в сердце. За окном с северной стороны, где расположена моя камера, по вечерам обучаются солдаты. Они маршируют и поют песню красного милитаризма: ...«за власть советов и, как один, умрем мы все за ето»... И внутри в коридоре сменяется караул, и в десятый раз я веду нудный разговор с солдатом, подошедшим к моей двери.

— Так как же, товарищ староста, все есть вам не дают? — спрашивает он.

Я объясняю ему, что мы добровольно голодаем, требуем человеческих условий заключения, чтобы нас не держали день и ночь взаперти как зверей в клетках. Но солдат не понимает и вновь спрашивает с недоумением:

— Так, значит, есть вам не дают?..

Повидимому, голодовка, как орудие самозащиты, настолько дикая вещь, что простому человеку ее никак не понять. Я снова пишу заявление и требую явки Губчеки. Приходит комендант и говорит, что председатель — на митинге и некому придти к нам.

Я волнуюсь и кричу, что нас толкают на обструкцию. Нам других путей не остается, как ломать двери и решетки... Когда на утро мы встали, на дворе мы увидели большой конный эскадрон. Он был введен на случай обструкции голодающих, и ему было приказано стрелять в окна при первом нашем движении.

В этот день я получил письмо от старой анархистки О. И. Таратуты. Она писала трагически о безвыходности положения и сообщала, что две анархистки решили покончить с собой и что сама она с вожделением смотрит на крепкий гвоздь в своей камере. И это писал человек, имевший приговор на 18 лет каторги и десять из них отбывший до революции! Я понял сразу, что время кончать и что именно нам, сдержанным и рационалистическим элементам среди голодающих, надо взять на себя ответственность и облегчить другим отступление. Я сделал еще раз обход меньшевистских камер. То же отчаяние в глазах, физическая прострация.

— Надо кончать, — говорят некоторые.

— Чека ждет смерти — упрямо твердят другие — Когда будет смерть, тогда она уступит...

Пытаюсь поговорить с членами бюро, но два члена бюро не в состоянии ни о чем разговаривать, даже не спрашивают о положении. Наконец, скоро зазвонит колокол, камеры захлопнутся, пройдет поверка, и мы вступим в девятый день голодовки.

Я созываю заседание бюро из трех человек и ставлю вопрос ребром о ликвидации голодовки. Чувствую свою личную ответственность, но настаиваю на принятии единогласного решения. Анархисты и левые эсеры, которых я предварительно поставил в известность о своем взгляде на положение, без долгих прений решили голодовку продолжать. Мы же пришли к решению прекратить голодовку. Мотивы прекращения свелись к следующему: 1) отсутствие уступок со стороны ВЧК, 2) тяжелое состояние большинства голодающих социал-демократов, 3) наро-

стание эксцессов у анархистов, левых эсеров и, отчасти, у меньшевиков, 4) необходимость облегчить отступление другим фракциям, так как после нашего отпадения их голодовка лишалась всякого смысла...

Легко понять, как было принято решение в нашей среде. Левые эсеры и анархисты голодали дальше, — первые, прекратив голодовку на 8-ой день, а вторые — на 11-ый день. Последствия, конечно, сказались сейчас же. Свыше 15 цынготных, около 30 острожелудочных заболеваний появились немедленно. Тяжело больных свыше 12-ти человек пришлось на носилках отправить в больницу. Две комнаты, отведенные нам в тюремной больнице, были сплошь заселены. Пришлось установить очередь, и после голодовки свыше 35 товарищей перебывали в больнице. Один меньшевик заболел сыпным тифом. Только долго спустя мы получили известие из Москвы. На все обращения в ВЧК Уншлихт отвечал одно:

— Если хотят, — пусть умирают.

V. «ВЫГОВОР» — СТРЕЛЬБА — ПОБЕГ.

Опять потянулись долгие суровые дни. На дворе солнце, лето, роскошная зелень садов и полей прельщает за решеткой окна. А мы после голодовки познали на опыте прелести строгого режима. Камеры закрыты, прогулка полчаса в день, небольшими группами. Походная кухня явно доживает свои последние дни, и однажды в 11-м часу вечера мы услышали прощальный стук уезжающей со двора двуколки. С продовольственными передачами становится все строже и теснее... Опять голод, недоедание, отсутствие денег. Вновь перешли в общую кухню, на баланду с червями и ложку пшенной каши. Несмотря на собственную картошку, которая готовится дополнительно в больнице, приходится туго. Слежка и надзор усилены. Дежурный чекист и военный ка-

раул все больше дают себя чувствовать. Директор допекает всякими мелкими репрессиями.

Но в общем август, часть сентября прошли тихо, без перебоев. У всех после голодовки появилась острая потребность в этой тишине. Отдыхаем, залечиваем раны, — кто в одиночке, а кто в больнице. Все остатки наших средств затрачиваем на жиры для пострадавших от голодовки. И, как это ни странно, сейчас после всего пережитого, режим и его суровость нас мало занимают. Одна мысль овладела всеми: здесь в Орле нам ничего не добиться. Надо отсюда бежать. В Москву! — мечтают привезенные из Москвы. В Харьков! — мечтают донбасовцы. И кой-кого уже берут в Москву или Харьков, в редких случаях — не без влияния проведенной голодовки — происходят освобождения... Оторванность от воли безгранична. Мы делаем попытку понять положение по коммунистической прессе; группами по десять человек мы обсуждаем какие-то вопросы, пишем протесты и заявления. Наконец, мы не выносим этой удушливой атмосферы и требуем от власти одного: перевода в Москву.

В это время у меня произошло столкновение с директором тюрьмы. Повод был случайный, но все обстоятельства характерны. Среди донбасовцев, переведенных к нам из концлагеря, было помимо 27 с.-д. — 10 беспартийных. Только один из них имел некогда отношение к политике; остальные совершенно случайно попали в категорию «политиков»; это были люмпены, принципиально чуждые нам люди. Естественно, что мы с ними не общались; на дворе они гуляли отдельно; личного знакомства с ними никто не вел. К голодовке из-за условий тюрьмы они не примкнули, а скоро мы узнали, что беспартийные добиваются каких-то тайных бесед с чекой и директором. До нас дошли слухи, что Поляков обещал похлопотать за них, и скоро мы получили сведения, что двое из них предложили свои услуги Губчеке по части внутреннего освещения в тюрьме.

Терпение наше было исчерпано. Мы объявили им бойкот, а затем мы были вынуждены поднять вопрос о выселении беспартийных из занимаемого нами крыла одиночного корпуса. По поручению всех фракций я обратился с заявлением к директору, в котором указал, что беспартийные, в сущности, не политики, что у нас с ними враждебные отношения, и мы просим во избежание всяких нежелательных осложнений переселить их в другое место. Нет сомнений, что в мае—июне наша просьба была бы немедленно удовлетворена. Другое дело сейчас. Директор вернул мое заявление с надписью: — Что за ерунда? В случае каких-либо осложнений виновные будут наказаны, согласно инструкции, вплоть до заключения в карцер. Конечно, я ему тотчас ответил резким письмом, где, между прочим, указал, что мы, политические узники, превосходно понимаем, какое удовольствие доставляет старым тюремщикам угрожать социалистам и анархистам заключением в карцер. Прошел день — другой и в результате меня вызывают в контору и предъявляют книгу, в которой черным по белому написано, что директор централа, согласно § инструкции, объявляет заключенному «строгий выговор» за неуместное заявление. Это было смешно, но прежде чем продолжать полемику с директором, я решил посоветоваться с товарищами.

— Хорошо, если после выговора последует карцер. Ну, а если Саат причинит нам неприятности при передачах? Все коллективное продовольствие направляется на мое имя!.. Скрепя сердце, мы решили не обострять отношений. Но с тех пор окончательно были нарушены отношения с директором, пока новые обстоятельства не заставили позабыть этот инцидент со «строгим выговором».

Это случилось в результате стрельбы в наши окна. В общем мы привыкли к частой стрельбе по вечерам. Пули попадали в стены, и вряд ли солдаты метили в людей. Но произошли, повидимому, какие-то изменения, и солдатам было приказано не стесняться в

выборе мишени. Раз сентябрьским утром во время прогулки я был свидетелем такой сцены. Наша маленькая товарка стояла на табурете в своей одиночке и смотрела поодаль от решетки на двор. Мы делали круг и все время видели ее длинные белокурые волосы. Вдруг караульный солдат со двора заметил ее и выстрелил прямо в упор. Пуля пробила стекло и, пройдя над головой товарища, ударила в потолок. Тюрьма заволновалась, караульный смутился, и чекист составил протокол. Мы были склонны забыть про этот несчастный случай. Но стрельба оказалась не случайной, а входила в систему борьбы с нами. Об этом нам напомнил следующий случай.

Помню, дело было вечером. Скоро 8 часов. Уже прозвонил колокол. Камеры крепко заперты. Форточки открыты, как всегда во время проверки. Внизу уже началась поверка: обходят камеры нижнего этажа. Против моей камеры сидит меньшевичка. Мы высовываем головы через отверстие форточки, раскланиваемся и, когда звонит колокол, нам кажется, что мы в поезде. Поезд трогается, мы кричим друг другу: до свидания. Она едет в Харьков, а я в Москву. Вдруг раздается выстрел. Дело привычное! Но сосед мой волнуется и кричит мне:

— Видите, напротив у Бархаша дым идет из камеры.

Неужели пуля туда попала? Неужели Бархаш ранен? В это время раздается стук извнутри из камеры Бархаша. Он как-будто кричит:

— Откройте камеру! Я ранен!..

В мгновение ока вся тюрьма начала стучать в запертые двери. Это было как-бы голосом инстинкта. Я стал тоже бить изо всех сил в свою дверь. Внизу суматоха, топот ног. Через форточку я вижу, как дежурный чекист с револьвером в руках бежит по лестнице к нам наверх с испуганными глазами, а со всех сторон сбегаются солдаты с винтовками и надзиратели со связками ключей. Прошло, верно, всего несколько секунд. Я прихожу в себя, покрываю

откуда-то взявшимся голосом стук, кричу товарищам:

— Перестаньте стучать!..

Кричу надзирателю:

— Павлик, открой 139-ую камеру!

По распоряжению чекиста моя камера открывается одновременно с камерой Бархаша. Он ранен в правую руку, в кисть. С помощью разорванной рубахи он крепко обвязал сожженное, израненное место и с искаженным от боли лицом бежит в больницу. Успокаивая товарищей, я бегу вслед за ним. Солдат с винтовкой по пятам следует за мной, не отставая ни на шаг. Конечно, в больнице нет ни врача, ни фельдшера. Бархаш не может сдержать крика от безумной боли, кусает до крови губы, и, как ошалелый бегает по больничному двору, поддерживая истекающую кровью руку. Я беспомощно бегаю за ним, а солдат с винтовкой не отстает от меня. Из-за решетки больничного окна нам подают воду. Раненый, пьет, стуча зубами о стекло, и опять мы кружимся в беспомощности по больничному двору. Наконец, приходит фельдшер. Но он боится дотронуться до раны и накладывает на нее вату, пропитанную эфиром. Открывается уже запертая на ночь палата; туда вставляется новая койка, — все места еще заняты оправляющимися от голодовки, — и Бархаш со стоном ложится на койку. Директор в результате краткого разговора отправляется за доктором-хирургом.

Я вернулся в корпус и сообщил товарищам о положении. Кругом кучка чекистов и комендант. Они твердо решают прекратить «беспорядок» и посадить меня в камеру. Но им это не удалось. Мы пошли при свете коптилки осматривать камеру Бархаша. В ней пахло еще порохом, дымом. Бархаш стоял недалеко от окна, повернувшись к нему спиной и читал газету, подняв ее вверх. Караульный со двора увидел газету и руку, прицелился и выстрелил. Пуля, разбив стекло закрытого окна, попала в руку, про-

шла через газету и скрылась в стене, пробив в ней большую воронку.

Часам к 11-ти вечера явился из города хирург. Он ковырял раненую руку, не нашел в ней никаких осколков, но все же не мог обещать, что рука будет действовать. Бедный Бархаш, прижавшись ко мне, переносил страдания с большой выдержкой и спокойствием...

Конечно, мы подняли шум по поводу стрельбы и повсюду разослали протесты. Л. Л. Бархаш не был меньшевиком; он примкнул к нашей фракции в тюрьме в качестве сочувствующего. Дело против него было затеяно в Туркестане, откуда он был привезен в Москву в ВЧК по обвинению в участии в антисоветском повстанчестве. После ранения мы по наивности расчитывали, что его выпустят. Но, конечно, мы ошиблись. Именно в то время, когда Бархаш лежал в больнице, прибыло постановление ВЧК о высылке его в Архангельск, в Холмогорский (знаменитый избиениями) концентрационный лагерь на 2 года. Мы с большими усилиями задержали его на месяц в Орле, после чего он долго сидел в Таганской пересыльной тюрьме в сыпнотифозном очаге, и выжил ли он, отправлен ли на дальний север, — я до сих пор ничего не знаю. А в централе усиленно говорили, что караульному солдату, ранившему его, была объявлена в приказе благодарность и пожалованы в награду часы. Солдат, мол, действовал правильно и только соблюдал инструкцию, которая требовала, чтобы караул стрелял в тех, кто сидит на окнах, трогает решетки и пр.

Но скоро мы были отомщены, отомщены за все: за неудачу, за голодовки, за издевательства, за стрельбу в заключенных. Накануне вечером внезапно взяли из тюрьмы всех донбасцев. Мы провожали их, помогали усаживаться в автомобили, видели обыск, при котором тщательно отыскивали и забирали столовые ножи. Начальник конвоя грозно сказал:

— Если кто попытается бежать или ослушаться приказаний, будет на месте застрелен...

Мы расцеловались, и они отбыли в Харьков. Эта ночь была темная, а на утро после поверки пробежавший мимо приятель из уголовных шепнул мне:

— Сегодня ваши бежали из больницы...

Да, побег оказался фактом. К нему заметно готовились давно. Недаром из корпуса в больницу и обратно все время летали записочки. Все это настолько бросалось в глаза, что за неделю до побега я счел нужным предупредить левого эсера Шебалина: — Будьте осторожней. Мы уже заметили, что вы что-то замышляете. Как бы не пронюхали архангелы...

Шебалин категорически заверял меня, что ни о каком побеге не помышляют...

В ночь побега в палате остались, кроме левых эсеров и анархистов, только раненый Бархаш и один беспартийный донбасовец, случайно выпавший из списков отправляемых в Харьков. Беспартийному дали снотворного, и он крепко спал. Беглецы распилили решетку, отогнули почти на половину железный прут в квадрате решетки и вылезли на больничный двор. Их было четыре левака и три анархиста, — всего 7 человек. Упорно говорили, что четвертый анархист, по прозванию Сатана, никак не мог пролезть в отверстие из-за своей толщины. Беглецы прошли через пустую прачешную к тюремной стене и с помощью заранее приготовленной лестницы перескочили через нее и — так их и видели! Это было в 2 часа ночи. Караул с башни на больничном дворе услышал шум и хотел сигнализировать, но сигнализация не действовала. Кругом была непроглядная, глухая ночь, — и только перед утренней поверкой узнали о побеге.

Не знаю, что делали власти за стенами тюрьмы. У нас внутри тюрьмы они обнаружили полную беспомощность. У взломанной решетки поставили зачем-то часового с винтовкой. Старший надзиратель

с сосредоточенным лицом обошел все камеры и всюду деревянным молотком испытывал крепость решеток. Были арестованы доктор, фельдшер, больничный надзиратель, служивший 35 лет в централе, старший по одиночному корпусу. Но скоро их выпустили, а беглецов и след простыл. Спустя долгое время я узнал, что левый эсер И. А. Шебалин, несомненный вдохновитель побега, был арестован и в знак мести посажен в особенно тягостные условия, — в пробковую одиночку в Петербурге. Но ему удалось опять бежать, — и снова быть пойманным, и бежать в третий раз и, наконец, скрыться от чекистов. При бегстве из окна вагона на ходу поезда Шебалин получил перелом руки, а при бегстве от конвоя ранение в голову.

После побега только усилился нажим со стороны тюремной администрации. Новый случай стрельбы в камеру анархиста Барона. Он и так был издерган — у него расстреляли недавно жену и брата по делу подпольных анархистов в Москве — а тут пуля ударила в стену у самой койки, на которой лежал Барон. Ему только оставалось реагировать резким протестом, и он послал ядовитое письмо своему бывшему приятелю Полякову. На другой день ему было объявлено, что он лишен на 10 дней прогулок и изолирован от всей фракции. Конечно, фракция анархистов вся отказалась гулять.

В эти дни был произведен повальный и тщательный обыск в централе. Должен сознаться, что при всей тщательности моя коробка с зубным порошком, в двойном дне которой искусно были спрятаны всякие бумаги, не была замечена. Но во время обыска был ряд инцидентов. Левая эсерка отказалась дать себя обыскивать, а один меньшевик отказался снять сапоги, говоря:

— Снимите сами, если вам это нужно...

Оба были наказаны лишением прогулок, и, разумеется, фракции целиком их поддержали. Так случилось, что все мы в течение некоторого времени со-

10

всем не гуляли. Это памятно мне, потому что стояли последние погожие дни. Мы вступали в осень. К 6-ти часам вечера уже становилось совсем темно. Дули холодные ветры. Октябрь.

VI. НА УГОЛОВНОМ КОРИДОРЕ.

Скоро 8 часов. Прозвонил колокол. Идет поверка. Темно. В коридоре нет освешения. Недавно начали проводку электричества, но нет лампочек и дело застопорилось. У нас в камерах большей частью коптилки - самоделки, работы одного металлиста меньшевика. У меня в виде исключения хорошая керосиновая лампочка. К двери подходит дежурный чекист и шепчет:

— Приехали из Губчека, сейчас вас возьмут.

Больше он ничего не знает. В полном недоумении я все же освобождаюсь от лишних вещей. Пересылаю соседу свою коробочку с зубным порошком, двойное дно которой чудесно скрывает наиболее ценные записи. Действительно, зампредгубчека, директор, солдаты, надзиратели приближаются к моей камере. Начальство предлагает мне выйти из камеры. Все мои вопросы остаются без всякого ответа:

— Куда? — спрашиваю я.

— Мы предлагаем вам выйти из камеры без всяких разговоров, иначе придется применить силу.

— Но по чьему распоряжению вы действуете, ВЧК или собственному?

— Это мы вам сказать не можем.

И вся эта банда обнюхивает и общупывает мои вещи. У меня нет настроения вступать в физическую борьбу. Знаю, что дело безнадежное, и мое сопротивление может только втянуть в тяжелую историю других издерганных и измученных товарищей. Начинаю собирать и складывать вещи, но директор легким жестом останавливает меня:

— Вещей не надо, они останутся тут.

Я все-таки беру с собой самое ценное: сапоги, лампочку и «Детство и отрочество» Толстого. Прохожу по балкону нашего этажа и говорю товарищам, следящим за мной: — не унывайте!

Кругом растерянные, беспомощные взоры. Все убеждены, что увели на расстрел. Как оказалось, кроме меня, взяли еще старосту анархистов Барона и бундовца И. В. Светицкого, члена бюро фракции. Слухами всегда тюрьма полнится, и на утро уже все политические знали, что нас ночью расстреляли.

В действительности, мы были помещены совсем недалеко, в другом флигеле одиночного корпуса, на уголовный коридор. Помню, открывается дверь, и я со своей лампочкой, Толстым и сапогами попадаю в дюжие лапы двух незнакомых тюремщиков. Оба огромные, рыжие ребята из бывших фельдфебелей старого режима с жадностью набросились на меня, стали раздевать, прощупывать до боли. У меня на голом теле был арестантский наряд и легкие туфли на босу ногу. Ничего скрыть в этой одежде было невозможно, но тюремщики долго меня мучили. Особено приглянулись им мои бедные сапоги: они тщательно выстукивали их, подозревая, что главное скрыто в подошве. Мое терпение лопнуло, и я обратился к зампредгубчеке с вопросом:

— Чего вы ищете? Динамита? Неужели вы не понимаете, что он мною хорошо спрятан?

Чекист распорядился закончить обыск. Захлопнулась дверь, и я остался один. Откровенно говоря, ночь была неспокойная. Как потом оказалось, мои соседи, как и я, были полны того же предчувствия: не пройдет ночь, как нас выведут в расход. За что? Вероятно, это месть представителям заключенных за все — за голодовку, за шум по случаю стрельбы, за побег из тюрьмы, за резкие заявления наши, в которых мы непочтительно пробирали местное начальство, ВЧК, ВЦИК и коммунистов вообще. Так и ос-

талось до сих пор неизвестным, за что нас покарали и по чьему распоряжению.

Итак, мы на уголовном коридоре, изолированы от всех своих товарищей и друг от друга. Нас считают смертниками, обреченными; не сегодня-завтра нас увезут. Надзиратель боится с нами разговаривать. У камеры поставлен специальный часовой с винтовкой, ежеминутно заглядывающий в глазок с мыслью, как бы арестант не убежал. Старший по корпусу и дежурный чекист часто проверяют, на месте ли мы. Изолированные друг от друга, мы отдельно гуляли и отдельно выпускали нас на оправку. Но время делает свое. Уже на следующий день чекист принес нам хлеба из общего коридора, — там узнали, что мы живы, и блокада была прорвана. В тот же день мне принесли мою постель, а через неделю и все вещи, уже подвергнутые генеральному обыску, и я начал устраиваться на новом месте серьезно и деловито. Неожиданно Светицкий был увезен в Москву и понемногу рушились стены между мною и Бароном. Мы стали делиться припасами, общаться через посредство стражи. Нас стали выводить вместе на прогулку под присмотром надзирателя. Помаленьку стража начала свыкаться с нами, стала добродушной и легче на подъем. Караульный закуривает папиросу, которыми меня снабдили на всякий случай товарищи из фракции. Всегда голодный надзиратель охотно доедает мой обед и ужин, от которого меня воротит. Если бы они не боялись и не трепетали чекиста, нам удалось бы и здесь в конец расшатать режим. Но чекисты совсем сбиты с панталыку. Они никак не могут взять с нами надлежащий тон. Вчера еще мы были первые люди в тюрьме, политические старосты; сам Поляков нас ублажал, и чекисты, в сущности, побаивались нас. А теперь... мы как бы сановники в опале, и чекистам трудно разобраться, что нам можно и чего нельзя.

От всех политических в тюрьме мы были совершенно изолированы. И в прачешную и в баню нас

водили отдельно, как особо важных преступников. Смешно вспомнить, как все помещения бани, с таким трудом отапливаемой в эти дни, часа на полтора отводились в наше распоряжение; в предбаннике все время дежурили караульный солдат и надзиратель. Именно по дороге в прачешную и баню нам обычно попадались навстречу возвращающиеся группы политических: нам запрещали разговаривать, и мы только закуривали папироски, одновременно обмениваясь записками. Во время прогулок по двору мы также наталкивались на «почтальонов» в лице уголовных уборщиков. Наконец, чекисты, передававшие нам книги и продукты, изредка приносили нам почту, несмотря на предварительный и тщательный осмотр передаваемых вещей.

Стояла морозная зима. Мелькнул конец октября, и потянулся снежный ноябрь. На дворе гудит мятель, разыгрываются снежные бури. Тюрьма не отапливается. Отопление испорчено. Нет дров, — с трудом хватает на подтопку кухни и куба. В камере стоит адский холод. Стекла закрыты толстым слоем льда, отчего в камере всегда сумерки. Я завел привычку по вечерам и по утрам опускать ноги в горячую воду, — этим выгоняешь ревматические боли и согреваешь ноги. Но все же согреваешься за день только во время прогулки. Мы с Бароном обратились с просьбой разрешить нам дважды в день гулять по 20 минут, так как прогулка по двору единственный способ согреться. Задыхаясь от быстрого бега и морозного воздуха, мы в течение этих 20-ти минут прокладываем тропинки в девственных снежных сугробах и к моменту вынужденного возвращения в камеру ощущаем тепло. Я в летнем пальто; у Барона нет верхнего платья и он в арестантской парусине. С 5-ти часов вечера тюрьма погружается во тьму. Раздача ужина и кипятку и поверка происходят при свете коптилки, зажигаемой в коридоре. В моей лампочке мало керосину, — надобно экономить, и с семи часов уже лежу на койке, впадаю в полудремоту, ку-

таюсь в жалкие одежды и мерзну. Обычно одолевает бессонница, нервы напряжены. А в камеру в течение долгих часов доносится тихая песенка, которую дуэтом поют надзиратель и караульный солдат. Они притоптывают ногами не то от холода, не то в аккомпанимент песни и поют у самых дверей одиночки. Нестерпимо слушать эту похабщину, бесстыднее которой я в жизни ничего не слышал. Послушаешь напев: все революционные песни или распространенные романсы, а вслушаешься в слова, и становится тошно. Я хорошо знаю в лицо надзирателя и солдата: это обыкновенные, неглупые, даже добрые крестьянские дети. И невольно останавливаешься с недоумением над вопросом: кто ухитрился создать эту революционную Барковщину и распространить ее среди этих бесхитростных людей?

Нас, конечно, считали жители уголовного коридора смертниками, наверняка обреченными людьми. Психологически понятно, что нас избегали и сторонились всяких случайных встреч. Мы были единственные в коридоре, у камер которых круглые сутки дежурил солдат с винтовкой. Что скажешь человеку, оказавшемуся в положении смертника? Чем отвлечешь его от последних дум? Чем утешишь его? Между тем, в уголовном коридоре сидело не меньше десяти человек, приговоренных к высшей мере наказания. Это были советские служащие, обвиняемые в злоупотреблениях и хищениях по службе, на разных складах, на железной дороге и пр. Но они все еще не сдавались. Они с жадностью цеплялись за жизнь. Они надеялись на амнистию, на манифест по случаю годовщины октябрьской революции, который должен был заменить им расстрел пятилетней тюрьмой. Как-то в уборной я встретился с одним толстым человеком с большой черной бородой и в очках, рассказавшим мне, как коммунисты, хозяйничавшие на дороге, благополучно спаслись от ответственности и выдали с головой его, чиновника, только механически выполнявшего поручение. Он был

глубоко поражен, узнав, что я меньшевик и что в Орловском централе вообще сидят меньшевики. Он откровенно сознался, что политикой не занимается, советских газет не читает и полагал, что меньшевики давно уже входят в правительство. Кажется, это был интеллигент, с высшим, быть может, специальным образованием. Вообще говоря, к нам, политическим, централ обернулся своей суровой стороной. Но с уголовными, советскими служащими, орловскими местными людьми у тюремной администрации существовали нередко патриархальные отношения. Известны случаи, когда заключенный, по отбытии срока наказания, прямо переходил на службу в тюрьму. Я сам наблюдал головокружительную карьеру одного глупого и хамоватого конторщика, который в несколько месяцев из писцов-волонтеров тюремной конторы сделался там persona grata и вот-вот должен был стать одним из помощников директора. У орловцев были хорошие связи в тюрьме, и даже смертникам они были доступны. Один подрядчик, которому угрожал расстрел и который заведывал в тюрьме работами по исправлению канализации, злоупотребил доверием властей: он выскочил в ворота, и след его простыл. Поднялась тревога, и пострадал бандит, который был специалистом по раздаче каши и все мечтал о побеге. Его заперли на замок и через несколько дней расстреляли вместе с подругой. Он всегда носил ямщицкий картуз с блестящим козырьком, синюю косоворотку и имел длинные, белокурые усы.

Большую и замкнутую группу представляли собой флотские офицеры, привезенные из Петрограда. Без писем, без передач, оторванные от близких, они сидели в очень тягостных условиях, арестованные со времени кронштадтского восстания. Даже в летние месяцы они сидели в грязи, в духоте, по двое в камере, — один на полу, — не зная тех льгот, которых добились в централе социалисты и анархисты... Наконец, пришла амнистия. С ней вышла какая-то за-

минка. Чека задерживала ее применение в централе, пока Губюст не заметил промедления. Даже инструкция была нарушена и поверка сильно запоздала в тот вечер. До поздней ночи сидела комиссия по амнистии; всю ноечь отворялись двери одиночек и выпускали счастливцев. Смертники получили пять лет. Говорят, что было освобождено до 300 человек. Но машина уже снова была пущена в ход: спустя несколько дней из уголовного коридора увели на расстрел четырех крестьян.

VII. ТРИ ДНЯ В ГУБЧЕКЕ.

Памятен день 18 ноября. Неожиданно прибыло из ВЧК распоряжение об освобождении девяти товарищей, меньшевиков. Несколько человек подлежало отсылке в Москву. Один меньшевик получил приговор в Туркестан — на свободу — «под гласный надзор с оставлением на свободе», а я получил Туркестан, но уже тюрьму, «содержание под стражей». Поредела меньшевистская фракция в централе, всего осталось человека 4. Было немного жутко в самый разгар зимы в пальто на рыбьем меху ехать в Туркестан, — говорили, что поездка туда длится недели две. Но все-таки и это казалось лучше прозябания в централе.

Когда 9 товарищей уходило на волю, они потребовали разрешения попрощаться со мной. В сопровождении чекиста и помощника директора я спустился к товарищам с третьего этажа. Но меня уже гнали наверх: слова и поцелуи надо было закончить.

У моего соседа по уголовному коридору Барона было тяжелое утро, когда за мною пришли для отправки в Туркестан. У него нашли в утреннем хлебе, присланном из общего коридора, шифрованную записку, и он ожидал осложнений. Мы попрощались и, нагруженный вещами, я быстро закончил свои дела в конторе и пошел в сопровождении конвоя.

В Губчеке меня ждали; два юных чекиста были наготове, чтобы сопровождать меня в Ташкент. Они очень сурово стали обыскивать меня, выворачивая карманы. Ульянов с улыбочкой сказал мне, что идет в тюрьму устраивать сюрприз по поводу шифрованной записки. Я посмеялся над его надеждами открыть шифр анархистов, и он ускорил мою отправку в «комендантскую».

Там мои чекисты сразу изменили тон и превратились в добродушных парней. Для них поездка в Ташкент, как и для меня, была совсем неожиданной. Один из них, красивый юноша учившийся в гимназии и из простого озорства пошедший на службу в Чеку, все расспрашивал меня с деловым видом, что такое Туркестан.

— Там верблюды, это я знаю. Но что там можно купить?

И узнав от меня, что Туркестан славится рисом и изюмом, он передал меня на попечение других чекистов, а сам бросился занимать деньги в городе. План был такой: раздобыть 300 тысяч, приобрести ни них рис и изюм и потом продать этот товар в Орле...

Поздно ночью часа в три должен был притти наш поезд, и я с большим удовольствием проехался на вокзал на крестьянских санях, на тощей лошаденке, которой правил обыкновенный орловский мужичок. Ночь стояла зимняя, морозная; кругом были сугробы, ветер, мелкий снег. С чекистами по дороге совсем мы подружились. Но, конечно, на железной дороге обычные перебои: поезд опоздал на 20 часов. Мы наскоро обошли вокзал, посмотрели толпу, буфет, агитпункт, и так как поезд снова на сутки опоздал. я провожу среди чекистов уже третьи сутки. Лишь изредка выхожу подышать свежим воздухом или помыться ледяной водой из боченка во дворе.

Знакомый мне комендант Губчеки лишь однажды пришел меня проведать. Он был в покаянном настроении и тихонько жаловался:

— Больше не могу тут служить. У меня жена, ребенок. Когда приедет Поляков из отпуска, я попрошусь назад начальником тюрьмы в Ливны...

— Скажите, комендант, много людей вы расстреляли?

— Упаси Боже, я никогда не расстреливаю. Я только по обязанности бываю при расстрелах. Раз тридцать я исполнял это дело, а потом отпросился. Так и сказал Полякову: больше не могу...

Впрочем все это он говорил на своем польско-немецком диалекте и понять его не легко. Чекисты его ненавидят, очень боятся и громко ругают его за спиной. Говорят о зверской жестокости этого толстого рыжеусого человека...

Комендантская представляет собою довольно большую залу частного реквизированного дома. Кругом жесткие диваны со спинками и лакированные столы. В переднем углу небольшой стол, за которым сидит дежурный. Посреди комнаты железная печурка, — из тех, которые в отличие от «буржуек» называются «свинками», а по закоптелому потолку проходит дымовая труба. Недалеко от печки стоит расстроенное пианино, и каждый входящий считает своим долгом что-нибуль побарабанить на нем, припевая обычно что-нибудь похабное.

На стене расклеены приказы, циркуляры, список служащих Губчеки. Их — 80 человек в списке: просматриваю фамилии и нахожу больше половины знакомых. Это все «испытанные и твердые коммунисты», дежурившие при нас в центоале. Они по большей части и толпятся здесь в комендантской. Повидимому, режим свободы торговли и отсутствие в Орле всякой политической жизни сказывается на делах Чеки: ей мало приходится работать. Чекисты приходят и уходят, шатаются по улицам, промышляют муку и соль. Видно, публика плохо ест — и

ругает начальство. А в остальное время балагурят, поют песни, пекут из неквашенного теста лепешки на печке и спят в повалку, не раздеваясь, на столах, на диванах. «Операции» бывают здесь все реже и безрезультатнее.

Больше всего меня поразило, что среди чекистов почти нет коммунистов. В Чеку — да пустить нейтральных, безпартийных. И затем, — почему бы чекистам не записаться в партию? Оказывается, дело не так просто. Большинство чекистов — простой народ, черная кость. Они ничем не отличаются от городовых и жандармов, — только помоложе и пограмотнее. А многие ли из ряловых полицейских старого режима занимались политикой, входили в Союз Русского Народа или Михаила Архангела? Только наиболее ретивые и наиболее способные. Так и здесь. Судьба этих крестьянских сыновей и подгородных мещан сложилась так, что на долю их выпала служба в Чеке. Это — профессия, занятие, служба, — не больше. Кто освободился таким путем от мобилизации на фронт, кто соблазнился двумя фунтами хлеба в день и жалованьем, кого потянуло русское озорство, а кто по неспособности к производительному труду пошел в чекисты. Одному льстит, что его сверстники, с которыми он в детстве играл в бабки, сейчас его побаиваются, а другого прельстила бездельная, легкая жизнь и безнаказанность человека с ружьем.

К партии, к коммунистам у большинства чекистов сложилось отношение почтительное и боязливое, как к господам, барам — а в глубине души царило к ним равнодушие или недоброжелательство. Когда в комендантскую пришли звать на собрание коммунистов, из двадцати присутствующих только двое поднялись и ушли, а кто-то из «кандидатов» даже выругался по матушке.

Из знакомых по тюрьме чекистов, — а их я подсчитал до 45 человек, — всего было 2—3 рабочих.

Они были одеты победнее, не по-солдатски, как обычно, просили у нас почитать книжечку, но держались в стороне от нас, заключенных. Остальные были крестьянские дети, восемнадцатилетние парни, выросшие в годы гражданской войны, не знающие другого режима, кроме коммунистической диктатуры, — малограмотные и незлобивые парни. Анархисты и левые эсеры их сейчас же «разлагали», и они охотно добывали на воле махорку в обмен на всякие изделия из казенного материала: на туфли, салфетки и пр. Мы много смеялись над одним юным чекистом, который, придя в тюрьму, первым делом спросил Павлика, левого эсера, передал ему поклон от чекиста Степы и во время обеда хлебал из одной миски с Павликом, сидя у него в камере. Были, конечно, и чекисты, любившие держать фасон: они были холодны, официальны. Другие чекисты были тупы, глупы, придирчивы; боясь и своего, и тюремного начальства, они делали нам замечания, что-то заносили в книжечку «для доклала» или просто начинали с площадной ругани. Таких мы быстро осаживали. Помню, одного чекиста я отослал с запиской к Полякову, в которой указывал, что этот испытанный и твердый коммунист ругается, как пьяный извозчик. Чекист упирался, не хотел отнести этой записки, но мы настояли. Кстати, именно с ним я особенно разговорился в комендантской. Он оказался общительным, разбитным парнем, бывшим приказчиком в лавке гробовщика, при общем смехе рассказывавшим о том, как он за отсутствием квартиры тайком от хозяйки спал в глазетовых и бархатных гробах... Внимание мое привлек чекист со строгим интеллигентным лицом в длинном пальто с красными нашивками. Он подсел ко мне и тихонько рассказывал о своих переживаниях на фронте в Тамбовской губернии, откуда он недавно уехал. Он — коммунист, из красных курсантов, временно командированный в Чеку. Он с ужасом вспоминает пережитое:

— На фронте была собрана масса войск. Артиллерия, бронепоезд. Сам Тухачевский во главе. И ненавидели же нас тамбовские мужики. Чуть попадется им в руки коммунист или курсант, зарежут, убьют. Народ весь запасся оружием... Да и наши зверски поступали с крестьянами. Приходим в деревню, где скрывался Антонов. Требуем выдачи повстанцев, никого не выдают. Тогда мы каждого пятого на деревне расстреливаем. Почти одних стариков, — молодежь давно разбежалась...

Ко мне было отношение благодушное в комендантской. Имело значение, видимо, то, что я уже вне тюрьмы. И хотя все знали, что я еду в Туркестан в тюрьму, но как-то забывали об этом и склонны были рассматривать меня, как подлежащего освобождению. Все время около меня толпились группами чекисты. Даже из канцелярии иногда приходили послушать наши разговоры. И долгими часами длился наш бурный импровизированный митинг. В эти дни дежурил чекист — рабочий, хвастливый, самодовольный человек. Он все приставал ко мне с вопросом:

— Чего вы хотите сейчас, меньшевики? Свободы торговли? Она дана. Отмены разверстки? Она отменена.

— Мы хотим свободы слова, печати, собраний, союзов и стачек, — разъяснял я ему, — отмены диктатуры коммунистов, уничтожения Чеки...

Но политические требования не дохолили до ушей чекистов. Тогда я говорил о разрушении промышленности, о бессмысленности национализации. И это встречало сочувствие. Крестьянские сыновья особ нно сочувствовали критике всей продовольственной и аграрной политики. В конце концов единогласно было решено, что меньшевиков скоро освободят. Даже больше, их пригласят войти в правительство. В комендантской Губчеки были устранены все препятствия к «соглашению»...

Но пока что нужно ехать в Туркестан. Пришли из города мои спутники, радостные, возбужденные. Они раздобыли много денег и лелеяли мысль о большом барыше по возвращении... Днем в три часа мы вновь выехали на вокзал. Опять чудесная поездка вдоль города на крестьянских санях, мимо улиц, оживленных базаров. Опять чудесная толчея среди солдатских шинелей, крестьянских тулупов, у агитпункта, у буфета. Мы быстро получили литеры и стали ждать опоздавшего поезда. Я решил отправиться с одним из чекистов пообедать на воле и пока что осмотреть город. Но скоро уже в городе нас нагнал извозчик, загнавший до пота свою лошадь, и слезавший с него чекист сказал:

— Немедля назад в Губчеку ехать.

Его послали за нами. Какая-то телеграмма получена...

Ничего не поделаешь. Повидимому, закончилась моя поездка в Туркестан. Мои спутники были огорчены еще более меня. Мы приехали в Чеку и оттуда меня тотчас же водворили в централ. По секрету мне сообщили, что ВЧК распорядилась задержать мою отправку в Туркестан. И я снова водворился в централе на насиженном месте, устраиваясь прочно и надолго.

Но через неделю меня снова взяли. ВЧК требует доставки меня в Москву. За эту неделю прибыли мои теплые вещи и продукты. Я мог свое пальтишко оставить на память анархисту Барону и в последний раз простился с централом. Впереди маячила Москва, и на душе было радостно.

---

3. СКИТАНИЯ.

1. В СТОЛЫПИНСКОМ ВАГОНЕ.—НОЧЬ В ОРТЧЕКЕ.

В связи с нэпом посадка в вагон и движение по железной дороге, казалось, было урегулировано. Между тем Орловский вокзал представлял собой привычную картину эпохи войны и революции. Густые толпы народа, солдаты, солдаты, солдаты,—немного крестьян с женщинами и детьми,—все это бродит из залы в зал, сидит на лавках, столах и узлах, лежит в повалку на проплеванном полу. Жалкий буфет, на котором сиротливо лежат кусок колбасы, завалящие пряники и яблоки по 15 тысяч рублей штука, — все время запружен тесным скопищем людей.

Окруженный четырьмя красноармейцами с винтовками, я присаживаюсь в самом центре залы на собственных узлах и, вероятно, не произвожу впечатления арестованного. Мои конвоиры — добрые, простодушные, совсем юные крестьянские парни, и с ними у меня сразу наладились наилучшие отношения. Они без слов видят свою обязанность не столько в том, чтобы стеречь меня, сколько в том, чтобы поудобней меня поместить и пристроить. Мы закуриваем сообща, пьем чай в ожидании поезда, завязываем разговоры с соседями.

Три делегата из Бузулукского уезда, Самарской губ., кооператоры, ездили в Орловскую губ. за кар-

тошкой, за другим довольствием. Мрачно, безысходно оценивают положение. Ругают, как водится, советское начальство, губсоюз: «взяточники, бюрократы!»

— А как у вас на местах с голодом? — спрашиваю.

— У нас в уездном городе открыли столовые для советских служащих. Кой-какие продукты доставили и американцы кой-что дали.

— Ну, а в деревне как обстоит дело?

— Деревня... Кто ее знает? Там смерть. Некому избы обойти, некому питательный пункт наладить. Безлюдье. Так и помирают без всякой помощи...

Но вот пришел поезд, и мы спешим занять места. Два конвоира вбегают на площадку, не особенно деликатно расталкивая народ, я следую за ними. Но дело оказывается не так просто. На площадке показывается железнодорожный служащий и, взяв за плечи красноармейца, с возмущением кричит:

— Ты чего с ружьем прешь? Прошли времена, когда вы тут хозяйничали...

Публика кругом явно сочувствовала этой реплике и, признаюсь, мне она тоже понравилась. Но мои конвоиры были растеряны, и когда мы всей гурьбой подошли к «начальнику поезда» с требованием мест для арестованного, они выдвинули меня вперед, и уже я хлопотал о том, чтобы меня, как арестованного, куда-нибудь посадили. Ничего однако из этих стараний не вышло, и мы ушли с перрона снова на вокзал в ожидании следующего поезда.

Это был поезд, шедший из Севастополя. Красноармейцы обратились за содействием в ж.-д. чеку, и мы наконец-то, попали в вагон. Какие-то молодые люди чекистского типа неожиданно приняли меня под расписку, посадив моих конвоиров в другой вагон. И так я очутился в тюремном столыпинском вагоне.

Чекисты выглядели бывалым, видавшим виды народом: крепкие, стройные, в сапогах и барашковых шапках ребята.

Первым делом они набросились на мои узлы, все разбросали, смяли.

— К чему обыск? ведь я из тюрьмы еду в ВЧК.

— Так полагается, — мрачно получил я в ответ, после чего был отведен узким вагонным коридором мимо решетчатых окон в свою камеру. Эта камера была устроена таким образом: взяли купэ третьего класса, лишенное окна, и закрыли его дверкой, сверху чуть-чуть пропускавшей свет из коридора.

Образовалась клетка, в которой на этот раз помещалось четыре арестанта. Я был пятый. Как только захлопнулась дверца, и я с узлами сел на нижнюю, оказавшуюся свободной, лавку, тотчас сверху и снизу протянулись ко мне руки и в полумраке прозвучали голоса:

— Хлеб есть? Покурить бы!

У меня все оказалось. Я был рад помочь этим голодным людям и с ужасом наблюдал, с какой животной жадностью все следили за дележкой хлеба и папирос, которую производил матрос с верхней полки. Ему явно не доверяли, и я отобрал у него, чтобы самому раздать. Разговор никак не завязывался. То ли люди были истощены, то ли они потеряли человеческий облик, — кругом раздавалось харканье и чавканье, — а слов не было. Наверху лежал матрос из Кронштадта; он говорил, что его в деревне под Харьковом забрали по доносам коммунистов. Солдат, лежавший на верхней полке, сообщил, что его обвиняют в самовольной отлучке и теперь везут в полк. Третий — в штатском, в отрепьях, все время лежал насупротив солдата, повернувшись спиной к нам, и не произнес ни слова. Но все внимание мое сосредоточивалось на моем визави.

Закутанная в совершенно разорванный крестьянский кафтан, лежала на скамейке какая-то фигура. В изголовьи мешок с мукой. На лице и руках чело-

века следы давно несмываемой грязи, какой-то слизи и крови, в которую замаран и мешок с мукой. Глаза мутные и слезливые. Фигура то и дело почесывается, ищет насекомых и щелкает их на скамье. Голос глухой, слова неразборчивы и бессвязны. Кто знает, быть может, это идиот? Почему же его везут в арестантском вагоне? Чекисты говорят, что он болен, — верно, тифом. Особенно страшно и противно было смотреть, когда эта фигура ест. С жадностью животного, боящегося, что у него вырвут кусок, этот человек глотает, хватает, рыгает, — хлеб, подсолнухи, откуда-то появившиеся у него, и потом с глухим урчанием ложится. Через минуту фигура издает звук:

— Пить! Дай попить!

Чекисты подходят и говорят:

— Вода есть, только кружку ему нельзя дать, загрязнит.

— Дайте ложку, — говорю я — пусть попьет из ложки.

— Да он ведро загрязнит — отвечают чекисты.

И никто ложки не дает. Я распаковываю вещи, достаю ложку свою и, наливая в нее из чекистской кружки, пою больного, уже потерявшего всякий человеческий образ. Он долго пьет и скоро засыпает, весь в грязи и гадкой, вонючей слизи...

Приподнимаюсь, смотрю в отверстие в коридор и вижу, что сквозь решетчатое окно сереют сумерки. Боюсь насекомых, заразы; стараюсь уже не двигаться и сижу в уголке в полудремоте, с тоской мечтая о конце этого кошмарного путешествия. Вдруг, сквозь полусон я вижу, приподымается с соседней лавки больной, которого я недавно поил, протягивает костлявую грязную руку к моим вещам и что-то тащит оттуда. Я не верю собственным глазам и говорю ему:

— Оставьте! Как вам не стыдно! Я вам и так дам хлеба!..

Матрос сверху говорит:

— Вы остерегайтесь его. Эта скотина давно уже что-то таскает...

Позже, вечером, мы подъезжаем к Курску. Среди чекистов началась тревога. За дверью забегали. Потом заглянул кто-то из них, и осмотрев мешок под лавкой, просительно сказал:

— Ежели придут, скажите, ребятушки, что тут вещи арестованных...

В Курске больного сняли и увезли в тифозный барак. А мы поехали дальше.

Наконец, мучительная поездка кончилась. Меня передают конвою; красноармейцы спрашивают, как мне пришлось ехать и соболезнующе выслушивают рассказ.

Мы на Курском вокзале в Москве. Опять, как в «героические» времена, огромные залы полны народом: солдаты, бабы, мужики, дети, мешки, — все в повалку на проплеванном полу. В воздухе можно топор повесить; проходишь между голов и ног, ставя осторожно ногу, чтобы не раздавить. Я объясняю солдатам, что в ВЧК ехать невозможно.

— Это не такое место, куда ночью ездят. Да, притом, пускай автомобить присылают. Они меня вызвали, пусть и везут...

Солдаты соглашаются и ищут местечка, где бы приткнуться. Но, буквально, яблоку упасть негде. А только 3 часа ночи, — как провести полегче время до утра? Один из конвоиров идет на разведку и зовет за собой в ортчека. Я упрямлюсь. Боюсь, как бы не посадили опять в какой-нибудь клоповник! Заключаем крепкое условие: останемся в ортчеке, если меня оставят в канцелярии вместе с моими конвоирами. В противном случае возвращаемся на вокзал. Идем.

По узкой лестнице попадаем в чеку. Хорошо освещенная большая комната, ближе к двери умывальник, которому я от души обрадовался. Подальше — столы, за которыми сидят чекисты, а в отдалении и глубине комнаты группа флотских офицеров,

прибывших этим же севастопольским поездом, попросилась на ночлег (в чека!) и расположилась на столах. Как приятно видеть этих свободных людей в свежем белье и чистом европейском платье! На столе крымские груши, мешок которых привезен для чеки. Какой-то старик предлагает и мне грушу и спрашивает:

— Вы за что арестованы?

— Я меньшевик.

Он чуть было не сказал радушно: «очень рад», весь просиял и, протягивая мне руку, сказал:

— Позвольте представиться, я — представитель цека партии по политической части при ортчеке Курской ж. д.

Мы познакомились, разговорились. И, как водится, скоро у нас завязалась оживленная политическая дискуссия. О чем только мы не говорили до самого утра в комнате чеки? Сознаюсь, давно уже я не пользовался такой свободой слова, как в положении арестанта. Флотские офицеры лежали на столах, как привидения, в своем белом белье, или похаживали вокруг с видом молчаливого удивления. В разговоре участвовали чекисты, уполномоченный по политической части и мои конвоиры. Уполномоченный рекомендовался рабочим с 8-летнего возраста, орехово-зуевским ткачем, на собственной спине испытавшим эксплоатацию и прочие прелести капитализма. Надо отдать ему справедливость, он соглашался с тем, что ставка на мировую революцию оказалась ошибочной, что много ошибок было допущено и в общей экономической политике, и в крестьянской. Но одного он никак не хотел признать: необходимости для страны демократии, политической свободы.

— Как, все контр-революционеры, Деникины да Колчаки будут на нас наступать, а мы еще дадим им свободу организоваться!..

Но я возражал ему:

— Ведь уже целый год, как никаких фронтов у вас нет, — какие же страхи вам мерещатся? Пускай народ всеобщим голосованием решит, кому власть должна быть вручена.

— Нет, — говорил орехово-зуевский ткач, — для нас эти европейские порядки, свободы, демократии не годятся. Наш брат рабочий и крестьянин — темный человек, и всякая контр-революция его легко обойдет с тыла. Нет, нам и национализацию промышленности надо сохранить в руках, чтобы не поддаваться капиталу. Мы и так с этим нэпом слишком далеко зашли. Нам, передовым рабочим, надо держать диктатуру крепко и никому власти не сдавать.

Вначале соглашаясь с необходимостью итти навстречу потребностям экономического развития, он, в конце, уже стал увлекаться собственным красноречием и повторять обычные большевистские трафареты. Красноармейцы сохраняли равнодушие, пока шел спор между социалистом и коммунистом: до их сердца еще не дошли эти волнующие политические вопросы. Но потом зашла речь о продналоге. Загорелось ретивое у красноармейцев. Некоторые чекисты стали им поддакивать.

— Как же это так? У крестьян хлеб отобрать? Да он не даст. И зачем ему давать? Его труд — его хлеб. В городе лодырничает народ и деревню, знай, грабит. Вы к нам не ездите, и мы к вам не станем ездить, — стали они повторять доводы украинских мужиков, с этими же словами выворачивавших рельсы железной дороги, демонстрируя свое резкое антигородское настроение. И коммунист, и я пытались им объяснить, что крестьянство должно нести известные повинности государству и что деревня должна своим хлебом помочь городу наладить производство, — в этом убедить крестьянских сыновей не удалось. В результате даже недоразумение получилось: конвойный обратился к уполномоченному Ц. К. с вопросом такого сорта:

— А, собственно, чего вы держите в тюрьме социалистов, когда вы между собой согласны?..

Но уже рассвело. Орехово-зуевский ткач позвонил в ВЧК, и оттуда обещали прислать автомобиль. Я успел написать несколько открытых писем и, совершенно нескрываясь, опустил их в почтовый ящик. Дул сильный ветер, когда, окруженный конвойными, я летел на небольшом грузовике с Курского вокзала на Лубянку. Москва уже встала и встречала зимний день.

II. В КОНТОРЕ АВАНЕСОВА.

Комендант ВЧК приветствовал меня широким гостеприимным жестом. Он знал меня по фамилии; надо сказать, что за время моей работы во Всероссийском союзе служащих меня многие чекисты знали, так как по коммунистической профессиональной политике ВЧК входила в ...союз служащих. Конвойные попрощались со мной, благодаря за компанию, и дружески пожимали руку. Чекисты с удивлением наблюдали эту сцену и приступили к обыску. Привычная история! Они все забрали — книги, рукописи и конфисковали... портрет К. Маркса.

— Не безпокойтесь, все будет в сохранности — галантно говорил комендант, — но мы обязаны взять портрет.

Мне только осталось посмеяться над коммунистами, боящимися портрета Маркса.

После обыска, дворами и лестницами, запутывая мои представления о внутреннем устройстве чеки, меня провели во внутреннюю тюрьму. В коридоре, с револьвером за поясом, солдаты-латыши. Повидимому, русские солдаты ненадежны, — приходится снова прибегать к латышам и китайцам.

В камере окно плотно замазано; тусклый свет электричества падает на досчатые нары, на людей. Нары составлены из узких досок по числу заключенных; их в этой маленькой комнате свыше 10-ти.

Доски голые, шершавые, ни матрацов, ни настила на них нет. Все говорит, что помещение временное и почему-то называется конторой Авнесова. Многие из узников привезены из провинции. Какие города только не представлены в этой камере: Петербург, Нарва, Орел, Калуга, Смоленск, Себеж. Большинство дел — по шпионажу. И это отражается на национальном составе заключенных. В маленькой комнате, где может разместиться три человека, собран миниатюрный Интернационал: тут немец, датчанин, грек, латыш, эстонец, поляк, еврей. Впрочем, обычный тип камеры времен революции.

Немец очень стар; ему верно больше 75 лет. Он по русски не говорит, по немецки что-то невразумительно шепелявит беззубым ртом. Он все безпокоится за судьбу чужой рубахи, которую, повидимому, взяла чека из его мешка, и поражает нас своей добротой. Свой паек хлеба он отдает соседям и им же предлагает какие-то объедки из своего мешка. Но старик не в силах сидеть. Мы прогоняем грека с его койки, отдельно стоящей в углу, и там укладываем старика-немца. Как он попал в чеку, однако? Неужели этот безпомощный старик заподозрен в шпионаже? В чем могла обвинить его ВЧК? Мы принимаем к сердцу положение старика, но лишь на следующий день нам удается добиться, чтобы его взяли в больницу. Грек опять укладывается на свое место. Он так грязен, ходит в таких ужасных отрепьях и все время щелкает вшей, — что все рады как-нибудь держаться от него поодаль. Это совсем мальчик, молчаливый, злой, голодный, кусающийся, как зверек, с испуганными огромными черными глазами. Он обвиняется в шпионаже, как и три поляка в военной молодцоватой форме, привезенные из Смоленска. Они перешли границу из любопытства.

— Хотелось узнать, как живется в Советской России.

Вернее всего, это добровольцы из отряда Булах-Булаховича или другого авантюриста граж-

данской войны. Они кончили какую-то военную школу в Польше; но, признаться, более неразвитых и некультурных шпионов трудно себе даже представить. Крестьянин Петр попал в число шпионов, как и поляки, при попытке перехода границы, — только не из Польши в Россию, а из России в Латвию через Себеж. К моему приходу он потерял человеческое обличье, с видом покорной собаки смотрел по сторонам, выпрашивая у всех — вплоть до латышского караула — то бычок папироски, то кусочек хлеба.

К ночи первого дня к нам в камеру привели высокого, стройного офицера в широком пальто английского сукна, с грудью, расписанною крупным красным узором. Настоящий советский генерал! От него несло духами; он был завит и раздушен. Он вынул блестящий крахмальный носовой платок, изящную коробочку папирос, которыми стал оделять окружающих, и тотчас сделался центром внимания. Это был заместитель начальника московских военно-учебных заведений; совсем недавно в войне с Врангелем он командовал полком.

История его ареста тоже имела шпионскую подкладку. Однажды к нему явился представитель турецкой миссии в Москве с просьбой познакомить с постановкой учебной части в военных заведениях. Он согласился, но предварительно затребовал разрешения военного округа. От округа получилась бумага, и генерал с турками объехал вузы, а потом вошел в дружбу с турками. Они стали ходить в гости к нему, он с женой поддерживали это знакомство, и обе стороны обменялись даже невинными подарками. Вдруг у нашего генерала ночной обыск. Безрезультатно, — но на завтра приглашают в чека. Он одевается в официальную форму, садится в служебный экипаж и едет на Лубянку. Следователь выясняет историю его знакомства с турками, а в заключение говорит:

— Я вынужден вас здесь задержать...

— Как, — изумляется генерал, — жена моя не предупреждена, дела не сданы, а лошадь ждет у подъезда.

— Ничего, вы недолго посидите,—успокаивает его следователь и направляет к нам в контору Аванесова.

Генерал возбужден, в первый раз попал в кутузку и все безпокоится относительно лошади, ждущей его у подъезда.

— Кучер такой безтолковый, что может прождать до петухов. А жена...

Но тут он не в силах дальше думать. Он расстилает свое широкое пальто на нарах, и мы, несколько человек, укладываемся на нем. Усталость берет свое, и понемногу забываешь о насекомых.

Уже глубокая ночь, когда я просыпаюсь. Сосед, старик с бритым умным лицом, заводит со мною разговор о том, о сем. Дело его совсем нелепое. Когда-то, года три тому назад, при национализации складов, принадлежащих иностранцам, была организована ликвидационная комиссия. Эта комиссия приглашала экспертов по разным отраслям; среди других вызывали два раза без всякого вознаграждения и моего собеседника. После этого много воды утекло. Ликвидационная комиссия проворовалась, и был назначен новый состав, который в свою очередь в чем-то попался и был заменен третьим составом. Наконец, дело дошло до суда, до чеки, — и началось следствие. Как сообщил следователь, в одну ночь было арестовано несколько сот человек: все составы ликвидационной комиссии и все лица, о которых нашлись сведения в делах комиссии. Так, недавно в Москве, по приказу Каменева, были арестованы все служащие жилищно-земельного отдела, свыше тысячи человек в одну ночь.

Я охотно беседовал со стариком. Он оказался бывшим владельцем отделочной мастерской в Москве на 70 рабочих, много видел на своем веку, разъезжал по Европе. Ему было о чем рассказать!... Кругом спали. Грек только все почесывался, метал

молнии своих глаз и щелкал насекомых. Генерал лежал лицом на своем крахмальном платочке и спал, как ребенок. Помню, что в этой неподходящей обстановке мы сравнивали русскую женщину с европейской.

— Я много ездил,—рассказывал старик,—знаю северную женщину, — она глубока, своеобразна, предана долгу; знаю немецкую женщину, — она поражает практичностью, деловитостью, но, как человек, ограничена; французская женщина умна, лукава, тщеславна. Лучше всех — русская женщина. Вы это сразу чувствуете, так как только у русской женщины есть способность отозваться на человеческое горе, есть сочувствие и жалость к человеку, есть душа. Возьмите деревенскую бабу-старуху или городскую десятилетнюю девочку, — такая чуткость и душевность в глазах, в каждом движении.

Я был ошеломлен этим неожиданным гимном русской женщине. Вдруг мой собеседник лукаво улыбнулся сквозь пенснэ и бросил:

— Ну, кто вы думаете, я по национальности?

— Конечно, русский!

— Нет, ошибаетесь. Я — датчанин, и всего лишь 25 лет живу в России. Но я полюбил вашу страну и не хочу покидать ее даже в эти ужасные годы...

Пришел новый день в конторе Аванесова. Утром поляки бросились к глазку в двери: там появился женский силуэт в блузке. Кто-то сообщил, что по соседству сидит графиня Потоцкая. Нам давали кипяток, $^{3}/_{4}$ фунта хлеба, обычную баланду на обед и ужин. Кругом стонали от голода. Я страдал от грязи и жаждал как-нибудь вырваться отсюда. Но наступила новая ночь, и начались ночные вызовы. Повидимому, как и в 1918-ом году, ВЧК работает по ночам. Позвали генерала из гувуза, — боюсь, что его посадили в одиночку внутренней тюрьмы. Позвали с вещами старика, датчанина. Возможно, что его все-таки отпустят, как ни противоречит традициям ВЧК такое скорое освобождение. На утро нео-

жиданно нам сообщили, что рядом вычищена камера и желающие могут туда перебраться. Я оказался среди желающих и перешел в комнату, где стояло несколько коек, правда, без тюфяков, но весьма чистых. Нас было тут человек 6—7. Крестьянин Петр из Себежа прилепился ко мне и переселился тоже сюда. Соседями нашими оказались эстонец, народный учитель из Нарвы, молодой купец из Калуги, анархист из Смоленска. Эстонец был желчный человек, к тому же истерзанный тюрьмой. Он прибыл из Петербурга, где просидел 5—6 месяцев, и не знает, в чем его обвиняют. Следователь на допросе спрашивал:

— Собираетесь ли вы в Эстонию?

А потом его допытывали, говорил ли он на собрании эстонцев, что Зиновьев торгует бриллиантами, имеет большие поместья, заказывает торты в кондитерских и т. д. Повидимому, его оговорили, и ретивый петербургский градоначальник спешит расправиться с народным учителем, свыше 30-ти лет работающим в русской школе.

Молодой купец из Калуги долго рассказывает свое дело, но его трудно понять, в виду обилия бытовых подробностей. Грузили какие-то товары, организовывали товарообмен, а на разницу купили корову и везли ее в вагоне домой. И вот из-за этой коровы возникли ссоры, недоразумения. Вмешалась чека, — и начались аресты.

— 26 человек по нашему делу привезли в Москву — рассказывал купец — многие сидят уже в Бутырках. И хорошо, что нас доставили сюда. Там на месте, знаете, всякие счеты, а кое-кого уже собирались разстрелять, чтобы замести следы. А здесь в столице все-таки правда выйдет наружу.

Грузный, плотный человек в солдатской форме, называвший себя анархистом, не вызывал к себе никакого доверия. Он говорил самодовольно, с видом бывалого человека. Он знает и ВЧК, и Бутырки, и Александровскую каторгу, и Вологодский централ,

— все исходил. Его взяли в Смоленске на улице с фальшивыми документами, — и теперь его упекут. И неожиданно этот крупный человек подсел ко мне и чуть не со слезами на глезах стал спрашивать мое мнение:

— Разстреляют ли его или нет, что я думаю об этом?

Но я ничего не думал, потому что этот человек, вероятно, из уголовных, никак не решался толком рассказать мне свое дело. Он провел в смоленской американке три месяца и рассказывал, что там расстреливали в самой тюрьме. 41 человек были при нем расстреляны, — все больше офицеры, обвинявшиеся в участии в савинковских организациях Смоленской и Витебской губерний.

К вечеру на третий день я потерял терпение и подал заявление в президиум ВЧК, настаивая на немедленном переводе в Бутырки. Не знаю, подейстьовало ли мое заявление, но часов в 11 ночи меня вызвали с вещами. Я не сомневался, что меня везут в Бутырки. Свобода казалась недостижимо-далекой. Мысль о ней даже и в голову не приходила.

III. В БУТЫРСКОМ КАРАНТИНЕ.

Снова наглухо закрытый черный автомобиль, густо набитый народом. Какой-то маленький человек с седой бородкой в старорежимном офицерском пальто садится ко мне на колени. Через минут 15 — гудок, и мы въезжаем в знакомые бутырские ворота. Я рекомендуюсь меньшевиком и прошу вызвать старосту меньшевиков. Но мне отказывают в том: — поздно, уже 11 час. Сегодня придется итти в общий карантин. Вместе с толпой узников, обременных, как я, поклажей, иду в карантин.

Это — огромная пустая комната; вместо коек и нар кое-где устроены помосты почти в уровень пола. Здесь прежде помещались тюремные сапожные ма-

стерския; на стенах эмблемы, серп и молот, надпись: да здравствует первое мая. Спать негде, а по помосту заметны следы насекомых. И невольно нас образовалась большая компания полунощников. Бродим по комнате, гулко звучат наши шаги. Один из спутников, человек в кожаной куртке и барашковой шапке, рассказывает свою эпопею:

— В 1906 году я был здесь в Бутырках в пересыльной, на этапе. Потом отсюда мы шли в ссылку на дальний север. Тогда я был большевиком. А теперь опять пришлось изведать бутырскую тюрьму. Нас по делу арестовано человек 80, а дело сводится к следующему. Нужно уполномоченному или следователю ВЧК раздобыть муку, крупу, малороссийское сало. Ну, вот он изображает служебную командировку на юг, — скажем, на ревизию юго-западных железных дорог. Само собой разумеется, у него собственные вагоны, — один для арестованных, другой для муки. Неловко как-то возвращаться с одной мукой без арестованных. И вот он набирает себе в Москву со всех маленьких станций железнодорожных служащих, контролеров, поставщиков и создает «дело». Привезли нас в Москву, подержали в ВЧК сколько полагается, а потом отправили в Бутырки.

Сидим мы месяца по четыре, люди пожилые, оторванные от семейств, пухнем, буквально, от голода, без всяких передач. Ведь все люди иногородние, и в Москве связей нет...

— А Вы — большевик?

— Нет, — отвечает кожаная куртка на мой вопрос, —я не большевик. Вообще, я политикой давно не занимаюсь. Дела минувших дней...

И кожаная куртка рассказывает следующий эпизод из бутырского быта:

— Нас, всех 80, расселили, конечно, по разным камерам, сговориться между собой невозможно. Между тем обвинения нам не предъявлено, на допросы не вызывают. Следователь, повидимому,

продает привезенную муку, а о нас, грешных, и совсем позабыл. Ясно, что нам нужно столковаться, предъявить требования, объявить голодовку. Но как же предварительно столковаться? Оказывается, в Бутырках есть камера для голодающих. Как только кто объяевил голодовку, его отделяют от других и помещают в эту особую камеру. Ну, кое-как мы сговорились, камера с камерой, и решили, чтобы из каждой группы выделился один и объявил голодовку. Так и сделали, и в один прекрасный день нас, выборных, привели в общую камеру для голодающих. Мы воспользовались этой встречей в своих интересах, а начальству объявили порознь, что голодовку прекращаем... Меня одного из первых сейчас таскали в ВЧК, но, в сущности, никакого толка.

В эту ночь нас было человек 30 в карантине; на утро стали подсыпать новые партии из ВЧК. Кругом были больше педеки, советские служащие, военные. Крестьянин, приехавший со мной из ВЧК, все держится вблизи и напоминает, чтобы я его не позабыл.

— Здесь сгноят... Ай-ай-ай! — крутит он головой и покорными глазами оглядывается кругом.

Группа поляков из Смоленска, заподозренных в шпионаже, понемногу устраивается, клянчит папиросочку, корочку хлеба, подлизывается к начальству. Собственно, такого здесь нет. Надзиратель звенит ключами где-то в отдаленном коридоре, а вблизи распоряжается и командует какой-то еврей низкого роста, нос крючком, в пенснэ. Он в желтых ботинках, без пиджака расхаживает по карантину, требует списков карантинных, приказывает подмести. Публика послушна, все принимают его за начальство и пристают с разными просьбами. Это — староста карантина, назначенный начальством. В такие старосты попадают долгосрочные, имеющие хорошие связи с начальством. Через их посредство можно переслать письмо на волю или достать колоду карт

в тюрьме. Узнав, что я меньшевик, казенный староста сообщил мне, что для социалистов есть особый карантин и обещал ускорить мой перевод туда.

В это время привели мне товарища, эстонца-эсера. У него была своя эпопея. Его взяли случайно, обвинили в шпионаже и посадили во внутреннюю тюрьму ВЧК. Он с восхищением рассказывает о бане в этом учреждении, но жалуется на голод, отсутствие прогулок и книг. Только на третий месяц разрешили ему иметь бумагу и карандаш. Наконец, вызвали его к следователю. Тот с места в карьер:

— Вы приговорены к расстрелу. Но... не волнуйтесь. Вы послужите нам валютой.

— Ничего не понимаю, — говорит эсер.

— Очень просто! — заявляет следователь, — мы вас вышлем в Эстонию в обмен на тамошних коммунистов. В Бутырках готовится в путь эшелон валютных эстонцев, к которому мы вас и присоединим...

Мы были уже в разгаре спора о новых типах рабочего движения, когда за нами пришли. Эсер утверждал, что он в одиночке нашел новую синтетическую формулу рабочего движения. Оно должно сохранить свой классовый характер, но в то же время вовлечь в свое русло и крестьянские массы. Между тем политические рабочие партии хиреют, а профессиональные союзы приняли тред-юнионистский характер.

Спор мы продолжали в бане, куда нас отвели до карантина и где наши вещи были забраны в дезинфекционную камеру, а нам взамен выдали арестантскую одежду. Как реформировались бутырские порядки с весны! — думал я с удивлением. — Но какой ужасный контраст между карантином для политических и общим карантином, являющимся явным очагом тифа и всяких инфекций... В бане, кроме нас, умывался красивый белокурый мужчина с голубыми глазами и длинными волосами. Это был анархист-

бельгиец, каким-то ветром занесенный в Россию, а, следовательно, в чеку.

Под карантин для политических был отведен целый коридор, но в трех камерах сидела пестрая публика. Социалисты и анархисты умещались в одной камере. Нас было свыше 20 человек. Здесь встретил я большую группу меньшевиков, товарищей по весеннему пребыванию в Бутырках, привезенных из Рязани, Владимира и Ярославля. Некоторые имели тот же приговор, что и я: в Туркестан, но не в тюрьму, а под гласный надзор. Они сообщили, что ВЧК решила собрать в Бутырки всех высылаемых в Туркестан. Здесь будет составлен отдельный вагон и обещаны всякие «удобства». В камере было несколько эсеров, привезенных из провинции — из Тамбова, Екетеринодара, — и выдерживавших карантинный стаж в 10 дней, прежде чем перейти на жительство в одиночный корпус (МОК). В центре карантина и в центре моего внимания оказалась группа крестьян. Помню, как ввели их в политический карантин. Один из уезда, остальные из деревни, взяты буквально от сохи.

— Нас 13 душ, — рассказывал один из них. — Взяли нас, почитай-что, прямо с губернской крестьянской беспартийной коференции в Курске. Восемь сюда привели, к политическим, а пять оставили в другом карантине. А жаль. Там все песенники, соловьи. Мы бы тут вам спели такую песенку, какой вы, наверно, не слыхали...

Знакомимся, по тюремному обычаю, очень быстро, обмениваемся рассказами. Один из крестьян, с острой седой бородкой, провел четыре года на каторге, эсер. Другой, в городском платье, сочувствует меньшевикам, марксист, — как его рекомендуют товарищи. Третий держится в стороне и явно чувствует себя неловко. Оказывается, он дал курской чеке подписку в том, что никакой агитацией заниматься не будет. Очень неприятна ему эта история, как-то случайно, по его словам, выскочившая.

— Ну, а вы кто будете? — спрашиваем остальных, — беспартийные?

— Мы — трудовое крестьянство, — отвечает один за всех. — Наше время еще не пришло. Да что говорить? Верим в единую и неделимую...

— Какая единая и неделимая? Это что такое?

— Да это же наша крестьянская партия, партия социалистов-революционеров. Мы ее так промеж себя и называем, — единая и неделимая. Она придет в добрый час! И наши народные вожди тоже объявятся. Верьте, без сомнения. Керенский! Крестьянство ждет его...

Это был уже человек пожилой, свыше 50-ти лет. Лысая голова, как венчиком, окружена кусточками блеклых волос; такие же кусточки на лице. Одет в заплатанную, потертую, крестьянскую одежду, — хуже своих товарищей. Говорит бойко и сам увлекается своей речью.

И товарищи заставляют его рассказать о том, как у себя в губернии на крестьянской конференции ему пришлось сражаться с самим Стекловым.

— Приехали крестьяне на конференцию, прослушали уже доклад по текущему моменту, все как полагается. И вдруг пронесся слух: приехал Стеклов. Не на конференцию, отнюдь, нет, — по другим, более важным делам государственным — на ревизию. Крестьяне решили во что бы то ни стало заполучить Стеклова на конференцию. С одной стороны, любопытно посмотреть на этого самого громовержца Стеклова — иронизирует рассказчик. — Ну, а с другой — пусть он услышит подлинный голос крестьянской нужды и передаст там наверху в кремлевских хоромах, как живется русскому крестьянину. — И тут голос рассказчика звучит серьезно.

При хохоте камеры он рассказывал, как прикинулся деревенским простачком, когда его вместе с другим депутатом, ввели в кабинет председателя губисполкома, где восседал Стеклов, — как он, опустившись на пружинное сиденье барского кресла, высо-

ко подпрыгнул и даже ноги вверх приподнял, — как-будто в первый раз узрел такое богатство. И потом, в той же роли дурачка, стал упрашивать товарища Стеклова уделить минуточку внимания малым сим и пожаловать на конференцию... Стеклов был, верно, весьма поражен, когда потом на конференции вместо смиренной овечки перед ним оказался яркий оратор, крестьянский общественник, бросивший в лицо Стеклову всю сумму обвинений.

Случилось это так. Раньше выступил наш рассказчик и по простецки описал всю крестьянскую нужду, все обиды и притеснения, поборы и мошенничества и, выложив всю правду о местных коммунистах, просил Стеклова сообщить о том высшей власти в столице. Съезд весь рыдал, когда оратор описывал крестьянскую нужду и долго аплодировал оратору по окончании. Стеклову пришлось распустить свой лисий хвост, оправдывать и объяснять, обелять и обещать. Никакого сочувствия, ни одного хлопка! Он скомкал свою речь и быстро уехал, в виду неотложных государственных дел. А конференция приняла резолюцию, в которой не было даже сочувствия идее продналога, — не говоря уже о диктатуре пролетариата и об его коммунистическом авангарде... В результате, конечно, набег Стеклова на Курскую губернию и привел наших собеседников в тюрьму.

Многие из нас — горожане — были удивлены этой встрече с крестьянскими общественниками. Не раз мы возвращались к вопросу о деревне, о ее настроениях и людях. Один из карантинных собеседников рассказывал как-то о «центрочеловеке» в деревне.

— Кой-где на великой русской равнине — говорил он — не перевелись еще местные люди. В более благополучных губерниях, Воронежской, Тамбовской, Курской, — террористическому режиму — и какому! — не удалось заглушить крепких ростков крестьянской общественности. Эта общественность

не имеет своих центров, ячеек, легальных опор. Где уж тут, — не до жиру, быть бы живу! Такими центрами являются отдельные живые единицы, — центрочеловеки. Иногда это положительный тип деревни: кооператор, практик, человек дошлый, — до всего сам дошел, — и даже деревенские «кормунисты» (от слова кормиться) вынуждены отдавать дань его знаниям и деловитости. Иногда это натура беспокойная, революционер, партийный, исконный участник «аграрных беспорядков», — и чека его еще по старым (жандармским) спискам берет при нужде, в беспокойное время, и без нужды, когда относительная тишь да гладь под советским небом. Центрочеловека арестуют, высылают, бьют бичами и скорпионами. Но жив курилка, — и в каждой губернии, уезде, селе и даже в каждой деревне, — если поскрести, можно обнаружить признаки живого неугашенного духа. К этому живому центру стекаются все нити. К нему идут за советом, его призывают на сходы, на съезды. Потихоньку он появляется и говорит свое нужное крестьянское слово. Его прикрывают телами, окольными путями уводят от недремлющего ока начальства, — а потом: ищи ветра в поле! После каждого такого выступления, схода, конференции приходится прятаться неделю, месяц и больше, прежде чем вновь появиться на горизонте. Конечно, крестьянский общественник гол, как сокол, хозяйство его развалилось, одежонка давным давно обветшала...

Из разговоров о крестьянстве я вспоминаю одну дискуссию, которая велась в зимние сумерки в нашем карантине. Сшиблись в горячем споре две точки зрения: одну развивал эсер, молодой крестьянин из Тамбовской губернии, а другую — меньшевик, интеллигент.

— Нет сомнения, что крестьянство все больше расщепляется, и борьба классов уже сейчас в деревне достигла большой остроты, — говорил один из спорщиков. — Поворот Милюкова, его ориентация

на крестьянство, позиция московских кооператоров, — все это очень показательно. Они чуют в воздухе нарождение нового слоя и поставляют емv идеологию. В чем, собственно, сущность воззрений крестьянской буржуазной демократии? Ударение она будет ставить не на демократии, — которая, конечно, ей нужна, — но на священном праве частной собственности. Разрыв последних связей крестьянства с социализмом, полное его равнодушие, — если не враждебность, — к идеалам освобождения труда, — вот что означает нарождение новой политической группировки в деревне...

Так говорил не марксист-меньшевик, а эсер, землепашец... Меньшевик же внес ряд поправок в речь эсера.

— Все это, батенька, схемы. А жизнь сложнее, и узоры вышивает она вопреки всяким схемам. Конечно, когда-нибудь расслоение крестьянства пойдет быстрым темпом. Но пока улита едет — когда-то будет. Пока надобно признать, что при упадке земледелия и всеобщей разрухе господство в деревне буржуазии надо отложить, и Милюков преждевременно раскрыл объятия: он обнимет пустоту. И, с другой стороны, громадная масса малоимущего, бедного, с неналаженным хозяйством, — поистине, масса русского трудового крестьянства будет еще долго бороться за одну цель с рабочим классом, за демократию, и в рядах такого крестьянства будет еще не мало борцов за социализм. На этой перспективе можно строить еще расчеты на победу демократии над диктатурой, — иначе все плоды революции слопает русский бонапартизм...

Так, поменявшись ролями, дискутировали эсер с меньшевиком зимой 1921 года.

Вне очереди перевели меня в МОК. Члены Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. и Бунда потребовали от ВЧК задержки меня в Бутырках до разрешения вопроса о всех членах Ц. К. Я заявил протест против высылки меня в Туркестан для содержания под стражей. Спустя не-

сколько дней я получил новый приговор, который гласил, что, вместо Туркестана, меня отправляют в Мезенский уезд Архангельской губернии. Член коллегии ВЧК Самсонов подтвердил в тюрьме, что я буду отправлен не в Мезень, а за тысячу верст от нее. Туда доставят меня на подводах или пешком. Я твердо решил сопротивляться.

IV. МОК. — ГОЛОДОВКА.

С весны я не был в МОК'е. За это время много воды утекло. Были избиения, развозы, голодовки. Были попытки восстановить во всей строгости тюремный режим, но все было тщетно. ВЧК вынуждена была капитулировать перед заключенными. Прошло 7—8 месяцев, и снова в Бутырской тюрьме социалисты и анархисты добились республики, самоуправления, свободы. К концу ноября я застал уже законченной борьбу за открытие камер с отвинчиванием, порчей замков. МОК был целиком во владении политических. После прорыва ЖОК'а женщины политические были переведены в МОК, и потянулась жизнь, совершенно напоминавшая Бутырки весной 1921 года.

В сущности, состав тюрьмы остался почти без изменения, и в каждой камере встречаешь старых добрых знакомых. Преобладают правые эсеры. Тут А. Р. Гоц, Е. М. Тимофеев, все будущие «двенадцать смертников», — и несколько десятков других. Большая группа левых эсеров, из которых многие сидят почти по три года. Меньшевики по сравнению с весной уменьшились почти наполовину... Нас всего человек пятьдесят. Многие за эти семь месяцев освобождены. Зато прибавились другие, в том числе Ф. И. Дан, которого перевели из Петербурга, где ему с легкой руки Ленина и Зиновьева угрожали расстрелом в дни Кронштадтского мятежа. Прибавилась еще компактная группа провинциалов из Смоленска,

Ростова. Но больше всего встречались лица, с которыми мы вместе пережили апрельское избиение и развоз и в последний раз виделись в 4 часа ночи в Бутырской сборной. Из Ярославля, Рязани, Владимира, Орла стали свозить публику, развезенную в апреле. В МОК'е было также не мало анархистов разных толков, и, каюсь, мне, при личной симпатии к отдельным лицам, так и не удалось установить различия между универсалистами и биокосмистами. Среди заключенных преобладала интеллигенция: политические деятели, литераторы, кооператоры, статистики. Было немало рабочих, как водится в Советской России, давно оторванных от станка, и крестьян, — напротив, совсем еще недавно взятых от сохи. Были глубокие старики с седыми бородами и гривами и совсем юные, почти мальчики и девочки. Большинство принадлежало к тому поколению русских революционеров, дух которых приобрел свой закал в огне революции 1905 года.

ВЧК либеральничала. Опытные тюремные узники знали цену этому либерализму. Но с тем большей жадностью старались использовать прелесть либерального режима. Мы были в тюрьме за крепкими решетками, замкнутые пределами МОК'а, но внутри мы пользовались всеми благами самоуправления. Случайно проходящий чекист или дежурный в коридоре надзиратель, позвякивающий ключами, вызывали одно недоумение. Кормили не плохо. Неизвестно отчего социалистов и анархистов вдруг облагодетельствовали «санаторным» пайком. Хлеба было вдоволь, а обед состоял даже из трех блюд. А многие имели личные продовольственные передачи, которые отбирались в собственность фракции и распределялись по уравнительному коммунистическому методу. Книги, газеты, журналы, иностранная пресса, русская зарубежная печать, — все это довольно аккуратно получалось МОК'ом и прочитывалось довольно большим кругом. Свидания были часты, нелегальная почта и сношения с волей были регуляр-

ны. Тюрьма была больше в курсе новостей русской и европейской жизни, чем многие и многие на воле. Но какая бедная была политика в декабре 1921 года по сравнению с весной! Тогда Кронштадтский мятеж как бы освежил атмосферу, был объявлен нэп; устами Ленина было признано банкротство идеологии и практики коммунизма. Это многое предвещало и заставляло политическую мысль искать впереди перспективы. Сейчас, спустя восемь месяцев, привычное русскому человеку ощущение тупика более, чем когда бы то ни было, определяло политическую обстановку. Явно обозначился декаданс коммунизма. Упорно отказываясь дать за экономической реформой реформу политическую, режим гнил на корню, удобряя почву для грядущего Бонапарта. Эти мысли более или менее одинаково звучали у всех, ставивших диагноз положения. Во фракциях читались доклады, происходили неизбежные дискуссии и споры, но пульс политической жизни бился слабый и большая публика охотней склонялась к развлечениям и легким забавам.

Весь декабрь прошел в какой-то сплошной погоне за шумом и развлечениями. Мне, привыкшему к суровой одиночке Орловского Централа, не надоедало общение с людьми до самых петухов. С раннего утра раздавался оглушительный крик: на гимнастику! Под руководством красного офицера в течение часа маршировала и извивалась весьма неуклюжая толпа мужчин и женщин, производя шум и нарушая сон. После обеда, в часы прогулки наступал час игр. На огромном дворе лежала густая пелена московского снега, и не было ни одного товарище, которого бы пропустили мимо любители игры в снежки. Фракции, жившие друг от дружки более или менее изолированно, в играх не делали различия. Вот одна группа оживленно играет в «козла», другая инсценирует столкновение «всадников». Тут руководителя гимнастики зарывают по шею в сугробы снега, а тут правый эсер в картузе и с за-

ступом, с бородой патриарха, строит снежную гору. Между прочим, тюремное начальство по вечерам стало разрушать эту гору, опасаясь, что заключенные там прячут орудия для взрыва и подкопа. На следующий день, однако, гора опять возникала: снега было изобилие.

Но наступал вечер, и тогда Бутырки находились в зените веселья. Под звон гитары и балалайки до поздней ночи распевались песни на всевозможных языках, читались частушки, исполнялись танцы. У нас были придворные рассказчики, сатирики, поэты. В торжественные дни издавался юмористический журнал и на стенах расклеивались карикатуры. Изредка, по вечерам, в каком-нибудь дальнем углу читались лекции, но они привлекали немного народу. В отдельных камерах уединялись небольшие группы, то для спевок, то для вечеров воспоминаний, то для шахматной игры. Но когда музыка, пение и танцы замолкали, жизнь не прекращалась. В МОК'е действовало два карточных «духана». Преферансисты кончали в 2 часа ночи, а винтеры в 4. Я очень поздно ложился и всегда наблюдал ночную жизнь МОК'а. Часа в три ночи на верхней галлерее, в полумраке сталкиваюсь с левой эсеркой-террористкой, в черном платье, волосами, спадающими на плечи, напоминающей старинный образ русской революционерки.

— Гуляете? — спрашиваю я.

— Мне все кажется, что я хожу по Арбату. Бесконечно длинная и темная галлерея...

В самом центре нашего «Арбата» неведомо зачем сидит над книжкой старенький надзиратель со связкой ключей за поясом.

Несомненно, было что-то болезненное в этом повышенном темпе тюремных будней, в этой сутолоке и ночной жизни. Все чувствовали себя на пороге новых потрясений, новых сюрпризов и торопились урвать побольше примитивной радости, побольше маленьких кусочков счастья. Но в душе уже сознавали, что либеральный режим непрочен, что недолго

ждать крутых поворотов в судьбе МОК'а. Сутолока и шум не могли скрыть выжидательного и напряженного настроения. Вначале, как это всегда бывает, поползли слухи о высылках. Тюремные старожилы радовались высылке, но многие были недовольны. Особенно возросло недовольство, когда узнали, что большевики восстанавливают административную ссылку во всей ее прелести. Кроме моего приговора в Мезенский уезд Архангельской губернии получилось еще два приговора меньшевикам: один на Печору и другой в область Мари. Группа левых эсеров получила приговор в Холмогорский лагерь, о пытках в котором были точные сведения в Бутырках. По всем направлениям к тому же, — на Туркестан и на дальний север, — свирепствовал сыпняк. Нет, уж лучше остаться в Бутырках! — так складывалось настроение. Высылаемые решили не ехать и сопротивляться. На ночь не раздевались и тревожно ожидали насильственного увоза. В это время пронесся слух, что анархистов должны увезти неизвестно куда. Они вначале решили объявить смертельную голодовку, но потом собрались в одну камеру и тщательно забарикадировались там, чтобы оказать сопротивление при попытке увоза. Меньшевики в это время были потрясены известием о внезапной смерти от тифа М. А. Александрова, инженера, старого социал-демократа. Он был привезен из Орла, где пережил восьмидневную голодовку, для перевода в Москву, но по ошибке вместо Бутырок попал в пересыльную Таганку. Там было скученно, и Алксандров три дня пролежал на полу на своих узлах и схватил в этом очаге заразы — тиф. Болезнь скоро осложнилась и, получив воспаление мозга, он сгорел в какую-нибудь неделю.

Изредка наезжали в Бутырки представители ВЧК, Уншлихт и Самсонов. Однажды они привезли известие о предстоящей «ликвидации» дела меньшевиков. И, действительно, скоро прибыл список 18-ти губерний, куда мы можем быть высланы. Только од-

но условие: нам воспрещается селиться 1) в губернских и уездных городах, 2) в городах, находящихся на железной дороге, 3) в местностях, где имеются фабрики и заводы. Мы могли выбрать только самые глухие, захудалые деревни, где были обречены на культурное и, вероятно, физическое истребление. Кроме того, нам предложили собираться и перейти из Бутырок в тюрьму в Кисельном переулке, откуда нас будут рассылать по назначению. Мы отказались перейти в Кисельный переулок и несколько ночей провели без сна, не раздеваясь, опасаясь повторения апрельского развоза. Но, отказываясь принять высылку по методу ВЧК, мы в то же время поняли, что колесо фортуны поворачивается в нашу сторону, и что, по тем или иным причинам, коммунисты вынуждены выпустить нас из тюрьмы. Единодушно было решено дать бой и приступить к голодовке. Мы выдвинули требование: освобождение или предание суду, и для руководства борьбой выбрали бюро из семи человек. Другие жители тюрьмы, особенно правые эсеры очень хотели примкнуть к нашему движению, но мы убедили их от этого отказаться.

Нас было свыше сорока человек, и голодовка наша длилась семь суток. Большинство голодающих уже с четвертого дня чувствовало себя слабо, но все держались спокойно и стойко. Когда я сравниваю бутырскую голодовку с орловской, я вижу главную причину той легкости, с которой мы голодали в Бутырках, исключительно в том, что мы все время общались друг с другом, жили кучей и отгоняли мрачные мысли. Конечно, была еще одна причина. В Орле мы были изолированы от заграницы, от Москвы, от близких. А здесь мы имели регулярные сношения с волей и получали к вечеру ответ на запрос, посланный с утра. Уже через пару дней забеспокоилась ВЧК. С ведома Уншлихта приезжала Е. П. Пешкова, и я помню наше свидание с нею, носившее официальный характер. Скоро приехал и Уншлихт

для переговоров. Мы знали, что нашим друзьям удалось дать знать заграницу о нашей голодовке, и уже пятого января во всей европейской социалистической прессе были напечатаны телеграммы. Мы знали о заседаниях правительства России, политбюро ЦКРКП, посвященных нашей судьбе. Мы знали, что иностранные коммунисты требуют нашего освобождения, так как факт нашего пребывания в тюрьме мешает их кампании против террора, направленного в Европе по адресу коммунистов. Восемнадцать губерний были заменены тремя уездными городами: Кашиным, Любимом, Коротояками. Мы отказались принять эти города и получили Вятку и Великий Устюг, а для желающих выезд заграницу. Голодовка была прекращена, и мы стали покидать Бутырки.

V. ИЗГНАНИЕ.

Не знаю, как объяснить это, но получив разрешение выйти на волю на семь дней, чтобы привести в порядок свои дела до отъезда в место ссылки, большинство из нас осталось в тюрьме на день, чтобы участвовать в вечере, устроенном МОК'ом в нашу честь. Почти годовое заключение в тюрьме, — и такое равнодушие к воле! Тут есть над чем призадуматься психологу советской жизни. Несколько смешно вспомнить, как сложив все наши пожитки на одного ломовика, мы группой человек в пятнадцать пешком бродили часа четыре по Москве, провожая друг друга и стараясь отдалить минуты расставания.

Как и следовало ожидать, за этот год Москва сильно изменилась. Всюду булочные, гастрономические магазины, кафе, рестораны, шантаны. От политики устали все, политику все гонят прочь. По всем направлениям царствует «новая гастрономическая политика», как называют в Москве НЭП. Буржуй, спекулянт, нэпман, вчерашний «враг народа» распоясался во-всю, ходит гоголем и вырос в опору

режима. Ленин сказал: коммунистам надо учиться торговать, — и красные купцы стали превращаться в первенствующее сословие. А вчерашнее дворянство — рабочие оказались в положении париев коммунистического общества. Из реквизированных особняков они вновь начали переселяться на окраины, в свои жалкие лачуги. Уже нет всеобщего «равенства в нищете», а есть нищета и неравенство для рабочего класса. Яркой иллюстрацией растущих социальных контрастов были длинные хвосты инвалидов и калек в ужасных отрепьях, назойливо ожидающих подачки у освещенных ресторанных подъездов и отгоняемых услужливыми швейцарами.

Я решил ехать заграницу. Ссылка, глушь, провинциальная чека — все это мне не улыбалось. Но предварительно я поставил вопрос в Центральном Комитете Бунда. Вдвоем с другим товарищем мы хотели перейти на нелегальное положение и поставить технику. Но тогда товарищи еще цеплялись за фикцию легальности и признали наше предложение несвоевременным. Они не предполагали, что через полгода жестокий террор заставит социал-демократию уйти в глубокое подполье! В Центральном Комитете РСДРП настроение было такое же, и там давались «назначения» только в ссылку, лишь в исключительных случаях разрешая выезд заграницу, который, кстати, тогда еще не именовался эмиграцией.

Я получил согласие партийных инстанций на выезд заграницу и стал вместе с другими лихорадочно готовиться к отъезду. ВЧК готовила нам заграничные паспорта, получала визы, снимала с нас фотографии, и 19-го января мы должны были выехать. Но в этот же день чекист на мотоцикле привез бумагу, в которой значилось, что, вследствие отказа Латвии дать визу, я должен явиться в чеку для направления в ссылку, в Вятку или Великий Устюг. Такую же бумагу получили все отправлявшиеся заграницу, и все отказались подчиниться. ВЧК тотчас снаря-

дила молодцов для ареста и, кого нашли дома, тех взяли в чеку (так были арестованы Ф. Дан и Б. Николаевский). Кого дома не застали, у тех оставили засаду. В результате, из первой группы заграничников трое снова сидели в ВЧК, а четверо (в том числе и я) предпочли скрыться и выжидать.

Должен сказать, что вначале я, действительно, прятался и днем не показывался на улицу, а потом осмелел, стал свободно ходить по театрам и ресторанам, не теряя драгоценного времени, — только ночевал у других, так как дома несколько суток дежурили красноармейцы. В эти дни шли выборы в Московский Совет, и отсюда вытекало стремление чеки поскорее убрать нас с горизонта. Нам все же было рискованно выступать на собраниях, — пришлось делать менее существенную работу в связи с выборами. А жаль! Почти год не дышали воздухом рабочих собраний. К тому же эти собрания были очень интересны. Помню в эти дни заседание Центрального и Московского комитета партии с участием всех ораторов, выступавших на фабриках и заводах. Свыше десяти мест было обслужено товарищами, и всюду одна и та же картина: недовольство коммунистами, острая жажда свободного слова, поворот симпатий в сторону социал-демократии. Коммунисты вынуждены были учесть перелом настроений в рабочей среде и объявили «новый курс» в профессиональных союзах, переходя на «защиту классовых интересов», добровольное членство и т. д.

Прошло несколько дней, и мы узнали, что Ф. Дана и его товарищей все же отправляют заграницу. Повидимому, латвийскую визу удалось получить. Тогда мы,—четверо подпольщиков,—решили явиться в ВЧК. Это было утром 28-го января. В знакомой комнате секретно - оперативного отдела нас встретил со своей хитрой усмешкой Рамишевский. Пока наше дело слушалось в президиуме, прошло несколько часов. Мы накололи дрова, растопили «пчелку» и вскипятили чай. Но наша судьба уже

была решена. Нас повели в комендантскую, подвергли суровому обыску и по одиночке развели в разные камеры. Итак, снова в тюрьме, снова во Внутренней тюрьме ВЧК!

Окна плотно замазаны белой краской. Весь день горит электричество. Койки расставлены просторно. Пять лет уже тут живет чрезвычайка, а комната все еще не потеряла своего обывательского облика. Даже кафельная печь уютно смотрит из угла. Как только я вошел, меня с дальней койки окликнули приветствием. В камере оказался молодой поляк из той группы, с которой в ноябре я встретился в конторе Аванесова. За эти два месяца его успели выпустить на свободу и опять арестовать. Внушив доверие рассказом о собственных злоключениях, я скоро узнал историю своих соседей.

Один был молодой рабочий, еще недавно социал-демократ. Он отвел меня в сторону и конфузливо сознался, что попал за «липовые» документы: родные подвели. Рядом со мной помещался на койке благообразный, пожилой человек с громкой в советской России фамилией. Он привезен из Петербурга, где заведывал отделением Нобеля. Его обвиняют в том, что он продолжал до сих пор состоять на службе у Нобеля и получать от него деньги из Парижа, — хотя, как известно, нобелевская нефть давно национализирована.

Наибольшее внимание обращал на себя высокий, стройный, с военной выправкой человек только на-днях переведенный сюда из строгой одиночки. Крупная львиная голова, седая грива, которая не могла скрыть моложавости лица, большие, очень красивые руки, все изобличало голубую кровь и белую кость. Он оказался артиллерийским генералом и графом фон-Э., — по его словам, крупным землевладельцем Виленской губернии. Он уже давно передался на сторону большевиков и состоял воен-спецом при Академии Генерального штаба. Любопытную историю рассказал он:

— Несколько месяцев тому назад мы собрались кружком и решили как бы образовать новую политическую партию. Мы считаем себя марксистами, экономическими материалистами. Правда, мы отвергаем юного Маркса, не освободившегося от анархических иллюзий. Но зрелого Маркса, стоящего на почве эволюции, мы целиком принимаем. В применении к России мы исходим из факта коммунистической революции и на нем строим перспективы дальнейшего развития. Красная армия, возсоздание государственного единства, возрождение мирового престижа, — вот путь, по которому идет и должна пойти советская власть. И хотя мы не согласны с рядом деталей в системе управления, мы рассчитываем и здесь на эволюцию. В этом смысле наш кружок выработал программу и привлек до 30-ти человек в свою среду. Даже в «Известиях» была напечатана одобрительная заметка о нас. Мы назвались несколько неуклюже «эскамотистами», чтобы не назвать себя эволюционистами. Но вот, в один прекрасный день почти всех нас арестовали и держат в ужасных голодных условиях заключения...

Генерал особенно жаловался на плохое питание, хотя я должен сказать, что на этот раз в ВЧК кормили хорошо, а хлеба давали 1½ фунта в день.

На третий день меня перевели в другую камеру, где я нашел своих двух товарищей по неудавшейся поездке заграницу. Оказывается, мы сегодня едем. Эта приятная новость была сообщена одному из товарищей. Но мед был испорчен большой ложкой дегтя.

— Мы хотели более чувствительно наказать вас, — сказали товарищу в конторе чека, — и продержать вас подольше в тюрьме. Но думаю, что вы уже достаточно наказаны.

— Как так? — недоумевая, спросил товарищ.

— А вот как, — последовал ответ, — как только вы скрылись, мы телеграфно распорядились арестовать всех ваших товарищей, выехавших в разные

города для ликвидации дел. Арестовано свыше 30-ти человек.

— Да, мы достаточно наказаны! — Надеюсь, вы телеграфировали об освобождении всех?

— Да, теперь они будут освобождены...

Мы сидим втроем в камере, читаем вслух по-немецки нашедшуюся в недрах чеки книгу Метерлинка о мыслящих лошадях. Время томительно тянется. Наконец, в 8½ часов вечера нас ведут в контору, туда приводят четвертого соучастника нашего преступления, молодую курсистку, нас торопят, говорят, что до отхода поезда осталось полчаса. Нашим близким дано знать, и они с вещами прибудут на вокзал. Мы садимся в блестящий черный автомобиль, мчимся во всю прыть по тускло освещенным московским улицам. Сопровождающий нас чекист неожиданно преображается: он по-европейски вежлив и предупредителен. Мы быстро пробегаем через вокзал, целуемся с близкими, осматриваем все ли в порядке — жены, дети, вещи, — все уже в первом классе дипвагона, и мы едем заграницу. Наши документы у дипломатического курьера и будут выданы нам на границе. В наше купэ бочком всаживаются два молодых латыша, оказавшиеся агентами чеки... Им поручено сопровождать нас до границы.

Впереди нас ждало еще одно непредвиденное приключение. Мы проехали русский пограничный пункт Себеж, подверглись таможенному обыску и проследовали дальше — к Латвии. Но с первой же латвийской станции Розеновское нас вернули назад... в Россию. Оказалось, что транзитная виза, выданная Латвийской миссией в Москве, уже просрочена. Нас выдерживали коммунисты во внутренней тюрьме в то время, как виза уже была получена, и срок ее истекал. Ничто не помогало. Дипломатический курьер хлопотал у латышей о нашем пропуске; случайно бывший в нашем вагоне, советский посол в Вене — Бронский ходил к полковнику с уговором. Нет, нам не разрешают ожидать продления визы да-

же в Розеновском. Извольте возвращаться в Россию назад! Пришлось подчиниться. Вещи нам удалось все же отправить в Ригу, — только самое необходимое оставить при себе.

Грустное было наше возвращение на родину в Себеж вагоном четвертого класса. Нас было четверо высылаемых, но один товарищ ехал с женой, а у другого была еще большая семья: жена, двое детей 2-х и 4-х лет и няня. Особенно, конечно, угнетала нас мысль о маленьких детях, которым выпадут на долю, — Бог знает, какие испытания. И вот мы в Себеже, опять на родине. На вокзале приютиться негде. Пограничная чека — форменная клоака, и чекисты своей внешностью напоминают бандитов. От них подальше! Городок расположен в трех верстах; многочисленные возницы отказываются нас туда вести. Как мы потом узнали, они вообще ездят только через границу в качестве контрабандистов и в город ездить не согласны. И мы раздобыли обыкновенную российскую теплушку в нескольких стах шагах от вокзала, построили нары, исправили печь, достали у добрых людей еле-еле мерцающую коптилку, — и повели себя так, как вели себя русские люди на всем пространстве России в 1919 и 1920 годах.

Как-будто для того, чтобы лучше сохранить в нашей памяти и «дым отечества», и горечь русского распада, нам суждено было вновь в сгущенном виде пережить незабываемых четыре дня в себежской теплушке! Мы крали и пилили дрова, доставали чудесным способом разные продукты, бегали на станцию за кипятком и обедом. Кругом весь день и ночь выла метель, наметая сугробы снега; стояло 18 градусов мороза. Мы, в очередь, топили печку, пока угар не заставлял нас настежь открывать примерзающие двери. От угара мы спасались на морозе, мороз выгоняли угаром. Бедные детишки натерпелись вдоволь, да и большим было не особенно сладко.

Наконец, прибыла телеграмма о продлении визы, и 6 февраля мы окончательно перешагнули через порог родной страны. Сознаюсь, Розеновское — Латвия — Европа повернулись к нам сразу оборотной стороной медали: пьяный офицер, чванный чиновник, суетливые дельцы-контрабандисты, — и отвратительный запах алкоголя. Неприглядная картина! Что-то ждет нас дальше?

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Из материалов Красной Книги ВЧК.

(Рассказы ВЧК о самой себе).

Предисловие.

Было бы поистине странно, если бы в сонме синих, белых и голубых книг мировая дипломатия не обзавелась и... красной книгой. И вполне понятно, что среди других держав именно ВЧК, т. е. Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, должна была обзавестись таким собранием дипломатических документов первостепенной важности. Тот факт, что Лубянка представляет собою государство в государстве, что в героические годы военного коммунизма Лубянка порой господствовала над Кремлем, — общеизвестен. ВЧК есть о чем порассказать, и «Красная Книга», вышедшая в Москве в 1920 г. (Госиздат, т. I, стр. 317), проливает некоторый свет на тайны лубянских подвалов и казематов. Не приходится удивляться, что даже этот скудный свет не в силах были выдержать кремлевские властители: Красная Книга ВЧК, по решению советского правительства, была изъята из обращения и конфискована. Правда о ВЧК, даже в самой скудной дозе, оказалась не ко двору при царящих в России порядках.

Авторы Красной Книги задавались большими претензиями. В предисловии они жалуются на то, что «достижения ВЧК остаются в тени», что «советская и партийная публика» имеет самое отдаленное представление о деятельности ВЧК. Между тем

«среда, поставляющая клиентов ВЧК» (при этом идет перечисление всех политических группировок, с которыми воюет советское правительство), не перестает вопить об «ужасах чрезвычайки». Составители имеют в виду дать «документальные данные» о работе ВЧК, дабы рассеять всякие неверные слухи.

Итак, чекисты прибегают к содействию печати для того, чтобы обелить себя. Более того! Они идут гораздо дальше. Красная Книга «даст точное представление о различных политических партиях и течениях внутри этих партий на основании подлинных показаний представителей этих же партий и течений»... «Эволюция политических партий и вся разнообразная гамма политического спектора в подлинных красках предстанет перед глазами читателей». Так намечают задачи этой книги составители.

Само собой разумеется, что опыт обращения ВЧК к печатному станку не мог дать удовлетворительных результатов. «В условиях широкой гласности работа ЧК была бы обречена на бесплодие», — совершенно справедливо пишут авторы предисловия. И не только потому, что в атмосфере гласности заговорщикам удавалось бы прятать концы в воду и обходить чекистов, но и потому, что гласность вообще не на пользу таким злачным местам, как ВЧК. Судьба Красной Книги доказывает это: недаром ее пришлось конфисковать.

Конечно, в книге нет ничего похожего на характеристику политических течений в России. Приведенные нами выше претензии составителей оказались просто пустым бахвальством. Да и «документальные данные» настолько сумбурны, нелепы, такая лежит на них печать небрежности, граничащей с преступлением, настолько все это собрание дипломатических документов компрометтирует весь советский режим, — что другого пути не оставалось для сколько нибудь грамотных и небеззаботных коммунистов, — как конфисковать это издание.

Тем не менее, как видно, отдельным экземплярам Красной Книги ВЧК удалось уцелеть, и такой уникум оказался в наших руках. В этой книге собраны материалы о трех знаменательных эпизодах большевистской революции: 1) Первые восстания белых летом 1918-го года, 2) Восстание левых эсеров и убийство Мирбаха, 3) Взрыв в Леонтьевском переулке осенью 1919 г. Мы сознаем всю недостаточность и тенденциозную однобокость этих материалов, для того, чтобы по ним восстанавливать подлинную действительность. Но часто это не столько рассказы об исторических событиях, сколько *рассказы ВЧК о самой себе*, — и в этом смысле они представляют особый интерес. Читатель, поверхностно прикоснувшись к этим эпизодам большевистской фазы революции, не сможет без ужаса и содрогания прочесть эту повесть о ВЧК, написанную ею самой.

МЯТЕЖ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ.

(По материалам Красной Книги ВЧК).

1

6 июля 1918 г. Москва была потрясена новым взрывом стрельбы из пушек и пулеметов. В этот день был съезд советов, и в Большом Театре шли перманентные заседания, шли споры о крестьянской политике между большевистским правительством и «оппозицией», в которую ударились левые эсеры. Неожиданно этот спор был вынесен на улицу, и первым толчком к нему прозвучали взрывы бомбы и револьверные выстрелы, раздавшиеся в Денежном переулке в здании германского посольства. В этот день левый эсер Яков Блюмкин застрелил германского посла графа Мирбаха.

Блюмкин вместе с своим приятелем Андреевым явились в германское посольство с мандатом от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Оба они служили в Чеке. Андреев был фотографом. Блюмкин был приглашен по рекомендаций левых эсеров для организации контр-разведки по шпионажу, — как показал впоследствии Феликс Дзержинский. Специальностью Блюмкина в ВЧК, как видно из показаний другого видного чекиста Лациса, было заведывание отделением «по наблюдению и охране посольства и

за возможной преступной деятельностью посольства». Им было нетрудно получить доступ в германское посольство, — тем более, что товарищем председателя ВЧК состоял левый эсер Александрович, у которого хранилась большая печать ВЧК.

Основания, давшие формальный повод представителям ВЧК явиться в германское посольство и добиваться аудиенции у самого посла, представляются весьма неясными. Более того, они покрыты мраком таинственности. В это время в тюрьме ВЧК сидел некий граф Роберт Мирбах. По какому делу сидел он в тюрьме, так и осталось неизвестным. Лацис показал впоследствии, что «дело Мирбаха возникло в связи с самоубийством Ландстрем», — но о Ландстрем нигде более нет ни пол-слова. Зато в Красной Книге ВЧК красуется фотографический снимок весьма колоритного заявления, в котором значится следующее: «Добровольно по своему желанию обязуюсь доставить Чеке секретные сведения о Германии и германском посольстве в России». За этим заявлением следует подпись на немецком языке графа Роберта Мирбаха, при чем эта подпись неграмотна и не им сделана...

Что преследовала ВЧК, затевая дело этого Мирбаха, — конечно, неясно. Быть может, она имела в виду скомпрометтировать самого посла при помощи своего секретного сотрудника, — оказавшегося родственником или в лучшем случае его однофамильцем? Ясно одно, что дело этого графа, сидевшего в Чеке, шло по ведомству Блюмкина, относилось непосредственно к шпионажу вокруг германского посольства и давало полную возможность Блюмкину с его товарищем явиться к послу графу Мирбаху с советским мандатом, проникнуть в его аппартаменты и совершить задуманный террористический акт 6 июля.

Было 3 часа дня, когда в посольство в Денежном переулке явились посланцы правительства и Чеки. Их встретили и приняли советники посольства лейтенант

Леонгардт Мюллер и д-р Рицлер, — но представители ВЧК настаивали на выходе посла. Когда граф Мирбах вышел к ним, между ними произошел следующий короткий разговор:

Блюмкин: Мы явились по делу венгерского офицера графа Роберта Мирбаха и полагаем, что для г. посла дело представляет интерес.

Мирбах: Ничего общего я не имею с этим офицером, и дело мне чуждо. В чем суть дела?

Блюмкин: Через день это дело будет поставлено на рассмотрение трибунала.

Андреев: Повидимому, г. послу угодно знать меры, которые будут приняты? (Следствие установило, что эти слова являлись условным знаком).

Блюмкин: Это я вам сейчас покажу...

С этими словами Блюмкин выхватил из портфеля револьвер, выстрелил в графа Мирбаха, затем в Рицлера и Мюллера, — но промахнулся. Граф Мирбах выбежал в соседнюю комнату, но получил пулю в затылок и упал. В это время раздался взрыв бомбы, окутавший все помещение дымом. Блюмкин и Андреев выскочили в окно, сели в ожидавший их с заведенным мотором автомобиль и ускакали.

2

Убийство Мирбаха должно было явиться толчком к восстанию левых эсеров, к разрыву их с большевистским правительством. 24 июня, как показала руководительница партии левых эсеров, Мария Спиридонова, — Центр. Комитет решил совершить террористический акт против германских империалистов. Совершение акта возложено было на тройку, — фактически же она одна все организовала, приурочив самый акт к моменту съезда советов... Одновременно с убийством Мирбаха и начался мятеж левых эсеров в Москве, захвативший большевистские власти тем более врасплох, — что сегодняшние мя-

тежники все время находились в самых глубоких порах всего правительственного механизма и что ими были весьма широко использованы занимаемые ими в правительстве позиции. Так, кроме Александровича и Блюмкина, среди деятелей ВЧК были Григорий Закс и Емельянов — от левых эсеров. Основное ядро вооруженных сил ВЧК составлял тогда отряд Попова, — также левого эсера, — набравшего своих людей преимущественно из демобилизованных солдат и матросов-черноморцев и сделавшего специальностью своего отряда чрезвычайно важную тогда функцию разоружения банд. Но кроме ВЧК, левые эсеры занимали весьма прочные позиции и в военном аппарате власти. Так, при Московском Областном Военном Комиссариате состоял «штаб отряда особого назначения Дружины Всероссийской Боевой Организации Партии Левых Эсеров». Вооружение и штаты этого левоэсеровского военного штаба были утверждены правительством в лице командующего московским округом большевика Муралова. Словом, для подготовки и проведения восстания было все налицо.

Каковы же были политические идеи, явившиеся обоснованием восстания левых эсеров? Общеизвестно, что разногласия между большевиками и левыми эсерами шли в двух направлениях: в вопросах ликвидации войны и в крестьянском вопросе. Левые эсеры к лету 1918 года резко высказывались против большевистской тенденции вносить гражданскую войну в деревню, против ставки на комитеты бедноты. Но в центре их внимания стоял вопрос о «передышке», — объявленной Лениным, — о Брест-Литовском мире, заключенном 3 марта и ратифицированном съездом советов 16 марта. Как известно, большевики тогда, просчитавшись в наступлении мировой революции, решились на Брест-Литовск, — для того, чтобы выиграть время и при помощи тактики лавирования получить отсрочку у истории. Против этой теории и тактики компромисса и лави-

рования решительно выступили левые эсеры. В Москве с прибытием германского посла графа Мирбаха стали циркулировать упорные слухи о капитуляции большевиков, о сдаче им октябрьской революции на милость германского империализма. Левые эсеры были не последними среди тех, кто так оценивал положение вещей.

Что собственно предлагали левые эсеры, настаивая на отказе от Брест-Литовска, — трудно сказать. Желали ли они втянуть Россию в новую войну с Германией? Возможно, что таково было настроение влиятельной группы деятелей партии левых эсеров, но формулировали они свое настроение в менее определенных тонах. Напр., в начале восстания Ц. К. послал в латышские полки извещение, что он «произвел убийство Мирбаха в целях прекратить в дальнейшем завоевание трудовой России германским капиталом». Эти элементы левых эсеров хотели прекратить зависимость большевистского правительства от победительницы Германии, не предрешая ни методов дальнейшей борьбы с немцами, ни своего отношения к возможным последствиям убийства Мирбаха. Но наряду с этим течением было и другое, которое хотело перенести на московскую почву украинские настроения. Левый эсер Черепанов на митинге в отряде Попова заявил: пусть немцы займут Москву, — тогда и левые эсеры и большевики вынуждены будут уйти в подполье. Черепанову и близким ему по духу людям хотелось прекратить в корне двусмысленное положение, созданное Брест-Литовским миром, — при котором Ленин живет и дышет милостью Гогенцоллернов. Ему хотелось революцию перевести в подполье, в партизанщину, в террор. И, быть может, это настроение доминировало среди активных участников восстания.

3

Красная Книга ВЧК приводит ряд документов, из которых видно, каковы были собственно мотивы, побудившие левых эсеров разорвать с большевиками и открыто против них восстать. Трудно сказать, что в этих документах действительно отражает факты и продиктованные ими мнения левых эсеров, что в них служит целям демагогии и агитации и что в конечном счете является фальсификатом историков ВЧК, — ибо надо думать, что чекисты кой-какие детали в своем изложении причесывают на чекистский манер. Однако, перейдем к документам и дадим идейную канву восстания левых эсеров.

Документы общего характера партии левых эсеров остаются в пределах таких утверждений: «Советская власть оказалась совершенно беспомощной перед шайкой Мирбаха». — «Лидеры большевистской партии, подпав под влияние германских капиталистов, продолжают свою преступную по отношению к трудящимся России политику». — «Властвующая часть большевиков... исполняет приказы германских палачей». Или, как гласит воззвание фракции левых эсеров и сочувствующих на съезде советов: — «Трудовое крестьянство и рабочие! Ваше правительство запуталось в сетях международных империалистов». Все эти обвинения по адресу большевиков отразили в более или менее резкой форме недовольство левых эсеров брест-литовской политикой советской власти.

Для того, чтобы придать этим обвинениям конкретный характер, облечь их в плоть и кровь, сделать их доступными для масс и заразить эти массы своего рода национал-революционным возмущением, — для этого левые эсеры выпустили ряд других воззваний и документов, отрывки из которых Красная Книга приводит в изобилии. Так, на первом месте находятся сообщения об агрессивной работе германского посольства. «Ц. К. партии левых

эсеров, — гласит один из документов, — имеет в своем распоряжении данные, что граф Мирбах пытался вооружить в Москве и провинции контр-революционные элементы и сосредоточил в Москве и Московском округе склады оружия, которым хотел вооружить военнопленных и белогвардейцев; далее, граф Мирбах пытался провести своих шпионов в советские учреждения (в частности в ВЧК). В распоряжение Мирбаха был прислан из Германии известный русский провокатор Азеф для организации шпионажа»...

Большевики в этих левоэсеровских документах, приводимых Красной Книгой, выступают в качестве откровенных и сознательных пособников германского посольства, в роли «шайки Мирбаха». — Так, левые эсеры сообщают, что по приказанию Мирбаха большевики вооружают германских военнопленных во всей Московской области. «Вооружение происходит в Кремле по приказанию Ленина большевиком Бела Куном». — «По предписанию Ленина и Троцкого в Москву стягиваются военные отряды».

Какова же главная ударная задача всех этих военных приготовлений Мирбаха вкупе и влюбе с его покорными исполнителями—большевиками? По мнению авторов приведенных документов, — вооружение военнопленных, стягивание отрядов к Москве, призыв немецких шпионов — вплоть до Азефа — на помощь, лихорадочная работа Ленина, Троцкого, Бела Куна, оказавшихся пешками в руках графа Мирбаха, — все это преследует одну задачу: расправу с левыми эсерами. Так, в ряде документов то и дело попадаются такого рода утверждения: «Немецкие шпионы и провокаторы, которые наводнили Москву и частью вооружены, требуют смерти левых эсеров». — Военные отряды стягиваются Лениным и Троцким в Москву для того, чтобы «расстрелять всех левых эсеров». — «Против нас вооружаются германские военнопленные». Один из левых эсеров, представших перед большевистским судом, Саблин, в

своем показании заявил, что на допросах военнопленных из части, сформированной Бела Куном, было установлено, что им сказали про левых эсеров, что это такие люди, которые хотят убить всех австро-германцев, начиная с Мирбаха... Таким образом, при таком понимании целей большевиков и германцев, разрыв левых эсеров с большевиками становился понятным и оправданным. Восстание левых эсеров получало свое объяснение и санкцию в глазах масс. Подсказывалась мысль о том, что левые эсеры вынуждены действовать против большевиков в состоянии самозащиты.

Прежде чем перейти к ходу самого дела мятежа и ликвидации его, мы хотим установить, что точно так же, как были неясны для левых эсеров политические идеи организованного ими восстания, — так же были неясны и непосредственные цели, поставленные себе восставшими. Стремились ли они свергнуть советскую власть? Хотели ли они захватить власть в свои руки? Или ограничивали себя задачей — оказать давление на большевиков, прижать их к стене и заставить изменить свою внешнюю, свою крестьянскую политику? В материалах по этому поводу мы встречаем пестрые, противоречивые указания. В цитированном нами письме к латышским полкам Ц. К. партии категорически заявляет, что «ни к какому захвату власти он не стремится». В другом документе Ц. К. с такой же решительностью объявляется, что «всякие попытки, направленные к низвержению советской власти, будут беспощадным образом подавляться». Любопытно, что, когда левым эсерам удалось арестовать некоторых видных большевиков, — они стыдливо сообщали об этом своей пастве: «временно задержан» Дзержинский, Лацис. Наряду с этим интересно отметить, что в приказе члена Ц. К. союза почтово-телеграфных чиновников левого эсера Лихобадина, изданном в первый день восстания, отдается распоряжение задерживать всякие депеши (в том числе депеши за подписью

Ленина, Троцкого и Свердлова), «признавая их вредными для советской власти вообще и правящей в настоящее время партии левых эсеров». Быть может, эта фраза о «правящей партии левых эсеров» была опиской увлекшегося эсера, — а, возможно, что тут сказалась логика восстания и борьбы. Раз борьба началась и пошла всерьез, — то вопрос о захвате власти получил более определенную и радикальную постановку.

4

Как было уже выше указано, восстание левых эсеров развивалось хочти исключительно среди красноармейцев и матросов, служивших в Чеке. Отряд Попова, сосредоточенный в Трехсвятском переулке, был в центре событий. Руководители партии преимущественно также были при отряде Попова. Помимо отряда Попова, восстание выразилось в захвате Прошьяном телеграфа, — да в посылке небольших военных отрядов в провинцию (Витебск и другие места), использовав при этом свое легальное положение при Московском Областном Комиссариате.

Что представлял собой отряд Попова, пытается осветить в своих показаниях Дзержинский. Эти демобилизованные солдаты и матросы, по его словам, очень напоминали по своему быту и нравам тех самых бандитов, которых им во имя революции полагалось разоружать. Дзержинский бросает тень на отряд Попова, подчеркивая факты попоек, злоупотреблений, интендантских хищений, которых там было немало. Вообще о левых эсерах, причастных к Чеке, Дзержинский рассказывает мало лестного. Так, на Блюмкина, — говорит он, — были жалобы, и расследование их было поручено Александровичу. К характеристике же Александровича Дзержинский приводит факт, весьма ярко рисующий нравы большевистской Чеки: Александрович, отобрав у аресто-

ванного 544 тыс. рублей, передал их Ц. К-у левых эсеров.

Силы отряда Попова, по подсчетам большевистских военачальников, составляли: 6—8 орудий (одно из них направлено было на Кремль), 4 броневика, кавалерийский отряд в 80 человек, стрелков до 1800 штыков, 48 пулеметов, большое количество ручных бомб и других взрывчатых веществ. С этими силами левым эсерам удалось в значительной мере внести смуту в правительственный аппарат, вызвать растерянность и нервность в Кремле, арестовать Дзержинского, Лациса, Смидовича и дня два-три держать в трепете большевистскую власть. Интересно здесь же отметить момент, проливающий на политические виды и цели восставших левых эсеров некоторый свет. Повернувшись спиной к большевикам, они ни на одну минуту не подумали о сближении с демократическими и социалистическими группами в стране, которых большевистский режим жестоко преследовал. Напротив, в первых своих документах, перечисляя врагов советской власти и «правящей партии левых эсеров», они наряду с белогвардейцами, кадетами, немецкими провокаторами, упоминают «контр-революционные партии правых эсеров и социалдемократов-меньшевиков», — попытки которых будут беспощадным образом подавляться. Нелишний штрих к характеристике взглядов лево-эсеровской партии!

То, что большевики были захвачены врасплох, засвидетельствовано их собственными признаниями. В докладе, представленном в Совнарком большевиками Мураловым и Подвойским, которым было поручено ликвидировать выступление левых эсеров, черным по белому рисуется неподготовленность, растерянность и нервность властей. В этом официальном большевистском документе эти военачальники указывают, что «военное управление еще неорганизовано, командование находится в неподготовленных руках, слаба дисциплина» и пр. Их операциям мешала «нервность из Кремля», которая нервировала

их и «иногда выбивала из планомерной работы». Не следует упускать из виду тот факт, что левые эсеры выбрали для своего выступления момент, когда Москва была почти обезоружена. Подавление мятежа затруднялось, как сообщают Муралов и Подвойский, тем, что в это время имела место «отсылка войск в Ярославль для подавления мятежа, в Тамбов — для той же цели и в большом числе — на чехо-словацкий фронт». Как было не нервничать при таких обстоятельствах кремлевским властителям? Тем более, что левые эсеры были до того сотоварищами во власти, почти все знали и были посвящены во многие секреты.

5

Однако, большевики не были бы большевиками, если бы обнаружили дряблость и стали долго нервничать. Нет, они быстро спохватились — и прежде всего стали арестовывать всех левых эсеров, каких только могли арестовать, — и не стыдливо «временно задерживать», а в серьез и надолго. И прежде всего они на самом съезде советов подвергли аресту всех членов фракции левых эсеров и сочувствующих, в которой числилось до 450 человек. Но на этом карающая рука большевиков не остановилась. Убийца Мирбаха Блюмкин скрылся,—с ним расправляться не пришлось. Но уже на следующий день, 7 июля, ВЧК вынесла целый ряд смертных приговоров, тогда же утвержденных ВЦИК советов и приведенных в исполнение. Расстрелян был Александрович из видных левых эсеров, занимавший пост заместителя Дзержинского в ВЧК. Остальные расстрелянные, список которых, — вероятно, довольно неполный, — приведен в Красной Книге, — являются безымянными участниками восстания: Филонов, Кабанов, Пинсин, Капрюк, Кудин, Загорин, Лопухин, Немцов, Жаров, Воробьев, Юшманов. Надо полагать, что в дни, когда большевистские войска, увели-

чиваясь в силе и вооружении, стали наносить удар за ударом войскам отряда Попова, и Попов вынужден был отступить, а остатки его отряда, бросившиеся врассыпную бежать из Москвы, были схвачены и доставлены на расправу к большевикам, — вот тут то заработали в ВЧК заплечных дел мастера. Левым эсерам, а больше всего увлеченным ими солдатам и матросам, пришлось на собственном опыте познать прелесть того режима, который они с таким усердием помогали строить.

Наряду с практикой расстрелов большевики сочли нужным прибегнуть к комедии суда. Еще 7 июля была образована Особая Следственная Комиссия в составе Стучки, Кингиссепа и Шейнкмана при следователе Розмирович, которая постановила подвергнуть задержанию всех членов Ц. К. партии левых эсеров. Аресту подлежали в первую очередь Карелин, Камков-Кац, Черепанов, Голубовский, Саблин, Трутовский, Прошьян, Магеровский и Фишман. Но когда 27 ноября 1918 года состоялся суд под председательством Карклина и при Томском, в качестве члена суда, — на скамье подсудимых оказались только двое: Мария Спиридонова и Саблин. Все остальные скрылись, а Прошьян был убит еще во время восстания. Спиридонова заявила, что не признает суда одной партии над другой, что спор левых эсеров и большевиков может разрешить только III-й Интернационал, — и вместе с Саблиным покинула зал заседания суда. Дело слушалось без обвиняемых, и приговор был вынесен заочно. Он гласил: Попова — расстрелять, всех скрывшихся руководителей левых эсеров — на 3 года заключить в тюрьму, Спиридонову и Саблина, во внимание к их революционным заслугам, — на 1 год в тюрьму.

Красная Книга ВЧК считает нужным сообщить, что через год Спиридонова и Саблин были «амнистированы» и освобождены из тюрьмы, — но она тщательно умалчивает о судьбе остальных участников этого революционного эпизода. Между тем их

судьба ясно рассказывает, как жестоко расплатилась большевистская власть со своими вчерашними товарищами. Спиридонова, Камков, Трутовский и др. до сих пор уже около 6—7 лет отбывают тюрьму и ссылку и не видать конца их страданиям и мытарствам. Вся партия левых эсеров загнана в глубокое подполье, и все ее рядовые члены почти не покидают стен тюрьмы. Черепанов, человек радикальных воззрений и близкий к анархистам, был схвачен по делу о взрыве в Леонтьевском переулке в 1919 году и, верно, убит в ВЧК. Попов, военный руководитель восстания, одно время всплыл в качестве анархиста, и от имени Махно вел переговоры с большевиками, заключал с ними перемирие. После ликвидации махновского движения Попов был арестован Чекой и расстрелян.

А что стало с Блюмкиным, с этим убийцей Мирбаха, давшим первый толчок лево-эсеровскому восстанию? С ним дело обстоит благополучно. Он долгое время скрывался, затем в апреле 1919 года явился к Лацису в Киеве с повинной и с объяснением. Лацис отнесся к нему по-товарищески, признал его объяснения удовлетворительными, а ВЦИК советов через месяц, 16 мая 1919 года, амнистировал Блюмкина. И вот в то самое время, когда товарищей Блюмкина по партии левых эсеров ВЧК продолжает гноить в тюрьмах, — он сам прекрасно устроился в этой самой Чеке. Блюмкин как ни в чем ни бывало вернулся на службу в ВЧК, и — кто знает — быть может, он вновь заведывает отделом по контр-разведке и шпионажу.

ВЗРЫВ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ.

(По материалам Красной Книги ВЧК).

1

Это было 25-го Сентября 1919 г., в самый разгар гражданской войны, красного террора, наступления белых армий, уже владевших всем югом России, и кровавой ликвидации открываемых чекой контрреволюционных заговоров. Фактическая сторона дела, по оффициальной версии, представляется в таком виде. В Леонтъевском переулке, в доме-особняке, принадлежавшем ранее графине Уваровой, помещался московский комитет коммунистической партии. 25-го сентября там состоялось собрание ответственных партийных работников города Москвы; было 100-120 человек. Собрание обсуждало вопрос о постановке агитации и выработке плана занятий в партийных районных школах.

В самый разгар заседания в открытое окно здания была брошена бомба со стороны сада, выходившего на Чернышевский переулок. В результате взрыва было убито 12 человек и ранено 55. Среди убитых оказались рядовые коммунисты, курсанты, рабочие. Только один представлял собой заметную величину — секретарь московского комитета Загорский (Денис). Среди раненых, правда, не тяжело, оказались

такие видные коммунисты, как Бухарин (раненый в руку), Ольминский, Павлович, Емельян Ярославский, Мясников (взорвавшийся на аэроплане в 1925 г. на Кавказе). Тяжело ранены были Стеклов, получивший разрыв барабанных перепонок и Сафаров, б. редактор «Ленинградской Правды». Таковы жертвы людьми в результате взрыва. Здание же на Леонтьевском переулке было совершенно разрушено, и развалины его в течение долгих лет революции зияли и устрашали прохожих.

Можно представить себе панику, охватившую коммунистов. Машина ВЧК заработала с удесятеренной энергией. Поиски террористов начались усиленным темпом. Кто же, действительно, совершил этот террористический акт? Кто произвел взрыв помещения московского комитета коммунистов?

По данным, опубликованным ВЧК, бомба брошена анархистами-подпольщиками. Судя по показаниям самих анархистов, эта версия весьма правдоподобна. Не отрицая своей активной роли в этом деле на Леонтъевском переулке, анархисты считают, однако, нужным протестовать против попытки большевиков смешать их с белогвардейцами и выдать их за бандитов.

Мы вернемся ниже к вопросу о тех идейных мотивах, которыми руководствовались анархисты подполья, когда бросали бомбу в московских коммунистов. Отметим только одно, что по их представлениям собрание 25-го Сентября имело целью отнюдь не обсуждение вопроса о каких-то там районных школах. Нет, по сведениям анархистов, в порядке дня собрания стоял вовсе другой вопрос: «Большевики собираются сдать Москву Деникину и бежать из Москвы», — и анархисты подполья считают, что нужно помешать — во имя революции — большевикам, собравшимся в Леонтьевском переулке, осуществить их «контрреволюционный» план.

Как и многое, что происходит в недрах ВЧК, дело о взрыве 25-го сентября представляется темным

и неразгаданным. Не только юридически и политически, но тем более с моральной стороны представляются совершенно неоправданными те репрессии, которыми обрушилась ВЧК на анархистов. Документальные материалы, приводимые в Красной Книге, никак не могут служить документами. Мы только знаем о целом ряде трагических эпизодов, в которые вылилась жестокая борьба ВЧК с анархистами. Нам сообщают немного фактов, еще меньше имен, и почти ничего, что пролило бы свет на жизнь и облик этих почти безымянных людей. Смертная казнь, взрывы бомбы, массовое самоубийство, опять смертная казнь. Вот все содержание материалов, приведенных в Красной Книге.

К сожалению, при характеристике взглядов и деятельности этих пленников советского режима приходится пользоваться данными ВЧК, как мы уже указывали, весьма недобросовестными и тенденцизными. Достаточно сказать, что в материалах ВЧК нет никаких календарных дат. Неизвестно, когда произошло то или другое событие. Неизвестно, когда оказали сопротивление анархисты, отстреливавшиеся при попытке ареста. Неизвестно, когда именно была взорвана анархистами дача в Краскове под Москвой, — точно также, как неизвестно, когда МЧК расстреляла большую группу анархистов подполья. Отмеривая скупо слова, лаконично сообщая о совершившемся факте, небрежно и неполно называя имена или даже только клички своих жертв, ВЧК вводит нас в историю целого ряда трагических конфликтов своих с анархистами.

Казимир Ковалевич и Петр Соболев отстреливались при аресте, бросали бомбы и погибли в перестрелке. На даче в Краскове взорвались окруженные чекой следующие лица: Яша Глагзон, Вася Азов (Азаров), Митя Хорьков, Захар (Хромой), Таня (Дедикова) и некто по имени Нина. Как сообщает Красная Книга, успел уйти с дачи до взрыва только один анархист, и тот был взят в одной из многочисленных

засад, которые повсюду устраивала тогда чека. Взят и расстрелян. Как заключительный аккорд всей картины ликвидации анархистов, Красная Книга сообщает глухо, что МЧК расстреляла 8 человек. Вот их имена: Гречанинов, Цицинер, Барановский, Домбровский, Восходов, Николаев, Исаев, Хлебныйский.

Нет сомнения, что этот список далеко неполон, что еще много и много строптивой анархистской молодежи погибло от руки палача в этот период. Достаточно сказать, что в Красной Книге упоминается еще ряд имен, показания которых приведены, но о судьбе которых чекисты умалчивают. Среди этих имен есть и такие, о которых можно с уверенностью сказать, что ВЧК не выпустила их живыми из своих лап. Так, нет сомнений, что левый эсер Черепанов, которого власти искали еще со времени мятежа левых эсеров в июльские дни 1918 г., был казнен, — но ВЧК об этом не проронила ни слова.

2

Русский анархизм в бурные годы революции проявлялся весьма разнообразно. Одно время казалось, что наиболее влиятельные круги русских анархистов заключили некий бургфриден с большевиками и готовы во имя идеалов коммунизма примириться на время с жестокой, всеобъемлющей, проникающей во все поры жизни регламентацией советской государственности. Но с весны 1918 г., повидимому, начался отход почти всех разновидностей анархизма, началось похмелье, — и роман анархистов с коммунистами оборвался. Только одиночки — легальные анархисты перекочевали в правящий стан. Большинство же ветвей русского анархизма оказалось на положении оппозиции, а подчас и в непримиримой борьбе с режимом диктатуры и террора.

Трудно сказать, в чем заключалось мировоззрение отдельных ветвей русского анархизма, — в том

числе той своеобразной ветви его, которая получила название «анархистов подполья» и сложилась в 19-20 г. г. Меньше всего можно судить о взглядах и идеологии «анархистов подполья» по выдержкам из их нелегальной литературы, которые дает Красная Книга. Но несомненно, что известные элементы правдоподобия тут имеются.

Можно ли то же сказать относительно характеристики практической деятельности «анархистов подполья», какую дает ВЧК? По этим данным, «анархисты подполья» в период, предшествовавший взрыву в Леонтьевском переулке, совершили ряд экспроприаций в Москве и в провинции. ВЧК говорит об экспроприации, совершенной в Народном Банке, об экспроприации ссудо-сберегательной кассы в Туле. ВЧК устанавливает связь «анархистов подполья» с левыми эсерами и максималистами, а в экспроприации Народного Банка участвовала группа латышей, которая потом уехала с деньгами к себе на родину в Латвию. Верно ли все это? Как верно ли обвинение, выдвинутое ВЧК против «анархистов подполья», расстрелянных в 1921 г., что они печатали фальшивые деньги и занимались экспроприациями. Мрачные стены ВЧК скрывают истину от посторонних глаз.

В своих изданиях, отрывки из которых приводит Красная Книга, «анархисты подполья» энергично протестуют против стремления большевиков выдать их за бандитов. В этих изданиях своих «анархисты подполья» выдвигают целую систему социальных и политических взглядов, которые окрашены в сущности в советские цвета, но и в таком виде вступают в резкое противоречие с режимом диктатуры.

Согласно материалам Красной Книги, «анархисты подполья» организованы в виде федераций. Семь федераций трудящихся, в том числе федерация вольных партизан, выработали общую программу. Особой ясностью эта программа не отличается. Русскую революцию анархисты воспринимают, как революцию социальную, венцом которой должно стать осу-

ществление идеалов анархизма. Они — сторонники советов и видят в действиях большевиков и во всем укладе созданного ими коммунистического государства — главное препятствие для дальнейшего и творческого «углубления революции».

Если представляется ясным отрицание ими основ режима диктатуры, то совершенно исчезают в тумане очертания их положительной программы. И когда они пишут в своих документах «долой Совнарком», — это, конечно, совершенно не значит, что на место Совнаркома они хотят создать режим демократии и политической свободы. Отдельные из них в своих воззрениях склоняются к синдикализму и хотят превратить свободные профессиональные союзы рабочих в органы управления. Особенно резки выходки в этих документах против так наз. «легальных анархистов», признающих красную армию, советскую государственность и сотрудничающих с советской властью. Их «анархисты подполья» клеймят «пособниками нового самодержавия»...

3

Вполне естественно, что в атмосфере, насыщенной взрывами бомб, конспирацией, заговорами, экспроприациями и всеми миазмами кружковщины и подпольщины, махровым цветом распускается не только авантюризм, но и предательство, а может быть и провокация. ВЧК не была бы верна самой себе, если бы не пыталась проникнуть в среду «анархистов подполья» и еще более замутить и без того мутную воду. Об этом Красная Книга, конечно, не дает отчетливых данных. Но все же против воли составителей книги, кое-что пробивается на свет божий.

Вот, напр., мучительно бьется в отравленной сети чеки один из арестованных анархистов Тямин (дальнейшая судьба которого неизвестна). На допросах он назвал имена и рассказывал про организацию. В

его письмах, заявлениях, отрывочных записках, адресованных известному чекисту Манцеву, председателю МЧК, ведшему дело анархистов подполья, раскрывается сложная психология юноши. Повидимому, он искренно разочарован в практике русского анархизма, — но и самые искренние моменты пронизывает дыхание предсмертного страха; на всем лежит печать двойственности. Он кается, он признает свои ошибки, он готов служить большевистской революции, — но одновременно он настаивает на освобождении пяти своих товарищей анархистов — «революционно творческого элемента». Он обещает Манцеву: «если освободите нас, у Деникина будут взрывы и убийства». Вряд ли испытанный чекист воспользовался услугами «анархистов подполья».

Но эту сжатую тисками анархистскую молодежь чека пыталась взять не только репрессиями, но уговором и лаской. Характерно, что допросы в чекистских застенках называются не иначе, как «беседы». Так, как и Тямин, Розанов имел тоже «беседу», — она происходила «в ночь» сентября, как лаконически, без точной даты, указывает Красная Книга. Такую же «беседу» вел в стенах ВЧК левый эсер Донат Черепанов (Черепок). Его долго искали, с июльских дней 1918 г., он был арестован только 17 февраля 1920 г. «Беседу» с ним вел весь синклит — Черепанова допрашивали Дзержинский, Лацис, Романовский и др.

Повидимому, эта «беседа» шла далеко не в дружеских тонах. Черепанов заявил, что, несмотря на исключение из партии, он себя считает «настоящим левым эсером», — в отличие от других левых эсеров, которых он считает «предателями и подлецами». По поводу взрыва на Леонтьевском пер. Черепанов сказал: «В метании бомбы я по постановлению штаба участия не принимал. Не будь этого постановления... я бы охотно принял на себя метание бомбы... Нужно только сожалеть о том, что... никто из более крупных не пострадал (при взрыве в Леонтьевском пер.)».

Путь революции, по мнению Черепанова, «путь террора и ударов по голове насильников». Последние слова его, обращенные к Дзержинскому, были таковы: «об одном я сожалею — при аресте меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов».

Черепанов, не в пример безымянным анархистам, был активным участником революции 1917 г. Повидимому, это была мужественная натура, натура, способная к самоотверженности и к большой ненависти. Чекисты оценили по достоинству, какой зверь попался к ним в лапы. ВЧК умалчивает о его дальнейшей судьбе. В Москве упорно циркулировали слухи, что Черепанова не расстреляли, а задушили в ВЧК.

ЯРОСЛАВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 Г.

(По материалам Красной Книги ВЧК).

1

Начиная с Брест-Литовского мира, прозванного в самых широких кругах «похабным миром», с ранней весны 1918 года острое недовольство захватило почти все офицерство, оставшееся в пределах советской России. Жестокие преследования, обыски, «перерегистрации», облавы, аресты, бессудные расстрелы, обрушившиеся на офицеров, среди которых было немало молодежи, призванной из запаса, молодежи, часто интеллигентной и демократической, — усиливали брожение в офицерских кругах, вызвали к жизни разные организации, пестрые по своим положительным идеалам, но одушевленные одной мыслью: о свержении большевиков. Антибольшевистское движение, руководимое генералами Корниловым, Калединым, Алексеевым, в это время делало свои первые и успешные шаги на юге России, оккупированном германской армией. Дон и Кавказ переживали процесс территориального и национального самоопределения и фактически отделялись от России. В Сибири и на Волге возникал ряд антибольшевистских движений, то связанных с чехо-словаками, то с Комитетом Учредительного Собрания, образованным правыми эс-

ерами. По соседству с Москвой в Тамбовской губернии начинались грозные крестьянские восстания, которым еще суждено было потрясать советскую страну несколько лет. Борис Савинков, известный эсер-террорист и военный министр революции 1917 г., давал свое популярное имя офицерскому движению, вспыхивающему то в Муроме, то в Елатьме, то в Ярославле. Июльские дни 1918 г. были жаркими днями для большевиков, засевших в Кремле. И, быть может, не было в эту первую фазу гражданской войны более трагичной картины, нежели Ярославское восстание и его чудовищно-жестокая ликвидация.

В стратегическом плане, который был выработан руководителями антибольшевистского движения, Ярославлю принадлежала весьма крупная роль. Сюда стягивались из Москвы и других мест члены разных офицерских организаций. Предполагалось, что одновременно восстания захватят целый ряд других пунктов, а, быть может, оно вспыхнет и в Москве, где скопилось немало горючего материала. Отсюда, следовательно, шли нити в Самару и затем в Сибирь. В Ярославле действовала северная добровольческая армия, командующим которой был полковник Перхуров. В выпущенном им воззвании он прямо объявил ярославскому населению: «Мы действуем вместе с сибирским и самарским правительствами и подчиняемся общему главнокомандующему старому генералу Алексееву. Северной армией командует старый революционер Борис Савинков». В том же воззвании, приведенном Красной Книгой ВЧК, вырисовываются политические цели Добровольческой Армии в то время. Ярославское восстание ставит своей целью «установление форм широкого государственного народоправства». Оно конкретизирует свои политические лозунги, формулируя задачу созыва народного собрания, восстановления политических и гражданских свобод, закрепления за трудовым крестьянством земли в собственность. Всем покушениям на личность и частную собствен-

ность объявляется решительная борьба. Такова была программа белого движения на заре гражданской войны. И, быть может, разрыв с этими лозунгами и идеями происходил не без влияния тех жестоких репрессий, с которыми большевики обрушились на русское офицерство.

2

Ярославское восстание началось в 2 часа дня 6 июля и продолжалось до 21 июля. Историки ВЧК дают подробное изложение хода и развития восстания и его ликвидации. По этим официальным данным мы можем нарисовать картину разрушения города и истребления населения, которые производились большевистскими войсками в течение всех 14 дней восстания...

Что сделали восставшие? Они захватили и обезоружили милицию, банк, почту, телеграф, советские учреждения. Никакого сопротивления захвату власти они не встретили. Отдельные лица, служившие в советских учреждениях, переходили на их сторону. Инструктора Красной Армии тоже перешли на сторону белых и при этом передали им пулеметы и брошенный автомобиль. Через некоторое время они заняли арсенал и получили новое подкрепление в виде большого количества пулеметов.

Большевики, повидимому, бежали. Только немногие были арестованы белыми при обходе квартир и расстреляны. Красная Книга называет всего четыре имени большевистских деятелей. Так, были расстреляны военный комиссар округа Нахимсон, другой военный комиссар Душин, председатель уездного исполкома Закгейм, бывший председатель губисполкома Доброхотов. Остальным, повидимому, удалось скрыться от расправы белых и от мести, вероятно, достаточно восстановленного против них населения. Так город был захвачен белыми в течение одного дня.

Красная Книга ВЧК переходит от рассказа о белых к изображению того, что же сделали большевики. Они, повидимому, ничего иного не могли придумать, как приступить к разрушению города, дабы таким путем выжить оттуда восставших. Они начали артиллерийский обстрел города. Обстрелу подверглись в первую очередь монастырь, Демидовский лицей, городской театр. Обстрел вызвал сильный пожар. Когда же из Москвы прибыл броневой поезд, обстрел усилился. «К 14 июля, — пишут наши историки завоевания города Ярославля, — окраины города были почти совершенно выжжены». Тем не менее белые продолжали держаться и не собирались отступать. Начиналась вторая неделя осады Ярославля. Прилетевшими из Москвы летчиками было сброшено в город более 12 пудов динамитных бомб. В городе возникли большие повреждения и новые пожары. Но все это казалось недостаточным большевикам. «В виду упорства противника решено было усилить бомбардировку, применяя наиболее разрушительной силы бомбы». Осада вступила в свою самую страшную фазу.

Красная Книга ВЧК с большой объективностью подводит итоги той разрушительной осады, которой был подвергнут Ярославль. Приводя эти итоги собственными словами большевиков, мы должны только поразиться той откровенности, с которой они рассказывают о совершенных ими преступлениях. Как можно иначе назвать умышленное истребление города и населения? Неудивительно, что излишняя откровенность заставила большевиков спохватиться и конфисковать Красную Книгу. Вот что они пишут:

«От города Ярославля, этой красы и гордости Поволжья, особенно богатого историческими памятниками, почти ничего не осталось. Вся деревянная часть города сплошь выгорела, почти все памятники старины разрушены или изувечены. От Демидовского лицея остались буквально одни стены. Нахо-

дящийся против него собор полуразрушен. Большая часть старинных церквей, памятников XV и XVI веков, или разрушена совсем или полуразрушена. Особенно сильно пострадала церковь Николая Мокрого, хорошо известная всем любителям старины. В самом городе не осталось ни одной не поврежденной снарядами колокольни. Выгорели почти вся торговая часть города, старый гостиный двор, торговые ряды, большая мельница Вахромеева. Снарядами разрушено много общественных зданий и частных домов. Сильно повреждено здание почтово-телеграфной конторы, здание реального училища, депо вольно-пожарн. о-ва и пр.

Оставшееся без крова, имущества и пищи население выгоревшей половины города ютилось в течение всей осады по уцелевшим каменным домам и подвалам. Пока была возможность, очень многие убегали за город. По всем улицам валялось много неубранных трупов, людей и животных. Убито много мирных жителей, вынужденных появляться на беспрестанно обстреливаемых улицах за пропитанием».

Так трагически ликвидировали большевики ярославское восстание.

3

Белые держались в Ярославле до 21 июля. Большевикам постепенно удалось замкнуть вокруг Ярославля кольцо и в значительной степени отрезать белым путь к отступлению. Когда выяснилась безнадежность положения, — рассказывает Красная Книга ВЧК, — белые сделали попытку спасти остатки своих отрядов при помощи немцев. Красная Книга издевается над этими судорожными усилиями во имя спасения, которые обнаружили в это время белые. Но, если подняться выше каннибальского остроумия, — то перед читателем развернется один из наиболее драматических эпизодов ликвидации восстания.

Восставшие, исходя из своего принципиального отрицания и непризнания Брест-Литовского мира, объявили, что считают себя находящимися в состоянии войны с Германией, — и так как для них очевидна безуспешность дальнейшей борьбы, они сдаются в плен немцам в лице Ярославской комиссии о военнопленных. Председатель германской комиссии № 4 в Ярославле лейтенант Балк дал свое согласие. Белые выдали свое оружие немцам, были взяты в качестве пленных и под караулом немцев засели в здании театра. Конечно, — сообщает в заключение Красная Книга, — создалось положение «недопустимое с точки зрения международных отношений, и довольно скоро театр с засевшими в нем офицерами попал в руки большевиков. Можно представить себе, с какой зверской жестокостью расправились с ними большевики.

Итак, восстание ликвидировано, город разрушен. Казалось бы, мирной жизни пора войти в берега. Политическая задача большевиков, казалось бы, сводится к тому, чтобы перевести симпатии населения на свою сторону. Но новая власть полна звериной злобы, подозрительна и жестока. В городе после прихода большевиков творится «невообразимое», — пишет Красная Книга. Необходимы специальные меры со стороны большевистских властей для того, «чтобы положить конец сомнениям обывателей». И вот для того, чтобы более никто не сомневался в том, что представляет собой большевистская власть, чрезвычайный штаб Ярославского фронта издает следующий красноречивый приказ к населению города Ярославля:

«Всем, кому дорога жизнь, предлагается в течение 24 часов со дня объявления сего, оставить город и выйти к американскому мосту. Оставшиеся после указанного срока в городе будут считаться сторонниками мятежников. По истечении 24 часов пощады никому не будет, по городу будет открыт самый беспощадный огонь из тяжелых орудий, а также хими-

ческими снарядами. Все оставшиеся погибнут под развалинами города вместе с мятежниками, с предателями, врагами революции...»

Излишне прибавлять, что опубликование и этого приказа не могло прибавить чести и славы советской власти.

И только после этого наступил час суда и расправы. Большевики образовали особую следственную комиссию, — это и был большевистский суд. Комиссия выделила из огромной массы арестованных 350 человек и расстреляла их. Но еще до этого в городе и в театре было «расстреляно на месте» 57 человек. Полковнику Перхурову и некоторым другим удалось бежать. Но «добрая половина из скрывшихся белогвардейцев попала в руки ЧК», — сообщает Красная Книга: без дальних слов ясна их судьба. Но потом было произведено еще дополнительное следствие, и на основании его было расстреляно 10 человек (впервые Красная Книга приводит фамилии расстрелянных) и 21 человек приговорены к заключению в концлагерь. Надо помнить, что в те годы концлагерь означал часто расстрел.

ВОССТАНИЕ В МУРОМЕ.

(По материалам Красной Книги ВЧК).

1

Тихий провиинциальный уездный городок, заброшенный в глубине Костромской губернии, — там, где берут свое начало дремучие Муромские леса. В этих лесах еще, кажется, до сих пор не перевелись русские богатыри Ильи Муромцы, а в дупле каждого могучего дуба еще гнездятся былинные Соловьи-разбойники. А в городах, живо напоминающих собою горьковский город Окуров, — там медленным темпом идет ровная мещанская жизнь с ее беспросветной темнотой, немощеными улицами, тусклыми керосиновыми фонарями, — жизнь, которую разнообразит беспробудное пьянство, провинциальная сплетня да редкие жестокие забавы вроде «уличных боев», в которых окраинные фабричные рабочие соревнуются в скулодробительных талантах с жителями мещанской слободы. Таков был Муром. Остался ли он таким при большевиках? Нет, он оказался центром больших политических событий в июле 1918 г., — и о восстании белых повествуют материалы, собранные в Красной Книге ВЧК.

Но даже в самый разгар восстания, — специфические черты глухой костромской провинции скра-

сили собой весь фон. Так, в центре событий находится знаменитый, древний монастырь; местная контр-революция питается преимущественно доводами от религии, поруганием которой усердно занимаются большевики. Когда Муромская ЧК пыталась отыскать в недавнем прошлом антисоветские выступления, она обратилась взором к февралю 1918 г., к моменту отделения церкви от государства, — к моменту, который проходил по всей России под пулеметную и пушечную стрельбу. Но в Муроме и тогда было тихо. В храме были произнесены речи против нового насилия большевиков. Церковь была переполнена молящимися. Но в сущности все проходило настолько мирно, что даже редактор местной правительственной газеты выступал в церкви в качестве оппонента и защищал советскую власть. Ясно, что Муром был тихий провинциальный городок. И эта черта была в нем запечатлена тогда, когда восстание уже вспыхнуло: большое число несовершеннолетних юношей, молодежи из средних учебных заведений составляло основное ядро восставших. ЧК потом расстреляла и подвергла жастоким репрессиям много совсем молодых людей, — но даже она вынуждена была отказаться от преследования многих контр-революционеров, не вышедших из детского возраста. — Однако, наряду с детьми были и взрослые. В городе жили и частью служили в советских учреждениях бывшие офицеры, — жили и служили, затаив мечту о свержении ненавистной власти и ожидая наступления своего часа.

2

Час наступил в июльские дни 1918 г., когда в Москве был убит Мирбах, в Сибири выступили чехо-словаки, и на Волге мобилизовалась народная армия. Кругом шли упорные слухи и толки о готовящихся восстаниях. И муромские офицеры, связанные в

своих отдельных представителях с Союзом Защиты Родины и Свободы, с Добровольческой Армией, созданной Алексеевым и Савинковым, нашли момент подходящим для выступления.

Это было 8 июля вечером. Восстание вспыхнуло внезапно, чекисты и коммунисты тотчас покинули город в растерянности и страхе. Белые обезоружили красноармейскую карательную роту, захватили оружие, заняли советские учреждения. Как и повсюду, многие из советских служащих, в том числе инструктора Красной Армии, перешли к белым. Вообще Красная Книга отмечает сочувствие всех слоев населения Мурома белому движению. Буржуазия, монахи, интеллигенция радовались, поздравляли друг друга на улицах. Студенты, учителя, реалисты записывались в белую гвардию. Даже рабочие отнеслись с сочувствием; один из чекистов, допрошенных после ликвидации мятежа, показал, что «широкие рабочие массы» вначале «поддались на призыв белогвардейцев против Брестского мира». Потом, по словам чекиста, рабочие скоро опомнились, как только, мол, узнали, что белое движение возглавляется Алексеевым и Савинковым и стали относиться к белой гвардии резко и враждебно.

В чем выразилась власть белых, властвовавших в Муроме один день, — ибо 10 июля восстание уже было ликвидировано, — Красная Книга не сообщает. Зато там приведены два документа, проливающие свет на политическую физиономию руководителей восстания, командира Восточного Муромского отряда полковника Николая Сахарова, и полит. комиссара Н. Григорьева. Это — воззвание к населению, в котором формулируются лозунги Учредительного Собрания, восстановления городского и земского самоуправления; — до тех пор — члены Дум и Комиссары, состоявшие при Временном Правительстве 1917 года, признаются правомочными. В другом воззвании, специально аппелирующем к крестьянам и рабочим, белые обвиняют большевиков в

том, что они залили кровью и обрекли на голод Россию, что они стали игрушкой в руках германского посла Мирбаха, что по его приказу они разоружают 60.000 чехо-словаков, которые хотели итти воевать с немцами. «Чехо-словаки, — говорят авторы воззвания, — истинные республиканцы и служат тому же святому делу, что и мы»...

Ликвидация мятежа была, как всегда, бессудной и жестокой. Суд состоялся только в феврале 1919 г. Главные участники восстания бежали, и ЧК жестоко расправилась со второстепенными, случайными спутниками движения. Были расстрелы, расстрелы, расстрелы. Монастырь был закрыт навсегда. Дряхлый епископ Митрофан выслан за пределы Мурома.

3

Особняком стоит в Муромской эпопее еврейский вопрос. Совершенно случайно в материалах допроса по делу о восстании мы встречаем показания Айзика Либстера. Кто он такой? Еврей 36 лет, урожеженец Могилева, муромский житель — часовой мастер и председатель местной еврейской общины. О чем он хлопотал, — об одном: как бы не случился погром. Его очень беспокоила судьба многочисленных беженцев-евреев, еще в годы войны нахлынувших в Муром и поселенных на окраинах города. Кроме того, какой-то еврей был арестован белой гвардией, и вот Айзик Либстер ходил в штаб по обыкновенному еврейскому делу: хлопотать за освобождение арестованного.

В городе с момента переворота ходили упорные слухи о погроме. «Черносотенные силы зашевелились и сначала понеслись среди евреев слухи, что готовится еврейский погром, а затем на улице все время открыто стали угрожать, что расправятся с нами — евреями», — так показал Либстер. Что же решили делать евреи для того, чтобы предупредить

погром и дать погромщикам отпор в случае нужды? Айзик Либстер рассказывает, что, когда он был в штабе, туда пришла делегация от еврейской молодежи союза сионистов во главе со своим председателем Кругликовым и обратилась к белым за оружием для защиты еврейских кварталов от готовящегося погрома. Сначала представители штаба отказали в их просьбе, говоря, что они сами охранят порядок, но затем они выдали еврейской молодежи 20 винтовок и немного патронов. Айзик Либстер вместе с молодежью покинул штаб и помог нести полученные винтовки.

...Что же сделала советская власть после того, как выяснилось, что Либстер был в белогвардейском штабе? Айзик Либстер был арестован, посажен в тюрьму и просидел месяц по подозрению в участии в белогвардейском восстании.

КАЗНЬ АЛЕКСАНДРА ВИЛЕНКИНА.

(По материалам Красной Книги ВЧК).

1

Осенью 1918 г. ВЧК расстреляла Александра Виленкина. Кто был Виленкин? Ему было всего 35 лет, но в довольно широких общественных кругах его хорошо знали. Это был высокий, красивый человек, хороший адвокат, блестящий оратор. Еще молодым студентом в 1905-06 г. г. он выделялся своим красноречием, своими общественными наклонностями. Он был председателем Совета старост студентов Петербургскаго университета в тот период, когда шли первые митинги и двери университета были открыты для рабочих масс столицы. И в избирательных кампаниях в 1-ую и 2-ую Госуд. Думы речи Виленкина постоянно звучали на собраниях — в ответ на выступления социалдемократических ораторов. Тогда Виленкин был кадетом. На этих избирательных собраниях его обычными оппонентами бывали Крыленко (тов. Абрам), ныне известный большевистский прокурор, и писатель Вл. Войтинский (давно отошедший от большевиков, видный социалдемократ).

Революция 1917 года застала Александра Виленкина на фронте. Он был офицером-кавалеристом.

Он придерживался антантовской ориентации и был горячим сторонником союзников. Он был храбрым офицером и получил на войне 4 Георгиевских креста. По своим политическим убеждениям он стал гораздо левее, ушел из кадетской партии и был видным деятелем партии народных социалистов. На фронте в период февральской революции он был очень популярен и состоял председателем Армейского Комитета 5-ой армии вплоть до самого октябрьского переворота. Незадолго до октября Временное Правительство намечало его к посылке в Лондон в качестве дипломатического атташе.

Такова в самых беглых чертах общественно-политическая физиономия Виленкина, которого большевистский переворот застает в рядах умеренных социалистов.

За что же расстреляла ВЧК Александра Виленкина?

2

Красная Книга ВЧК приводит его имя среди других 18 расстрелянных офицеров по делу Союза Борьбы за Родину и Свободу. Об этой организации очень мало известно. По данным ВЧК, все восстания, бывшие и неудавшиеся в 1918 г.—в Ярославле, Рыбинске, Арзамасе, Казани, Москве, — все были инсценированы Союзом защиты Родины и Свободы. Главным элементом в этой военной организации было офицерство. Во главе организации стоял Борис Савинков, — а офицерство в своем большинстве, как пишет Красная Книга, в это время было «эсерствующее». Вот в принадлежности к этой организации был обвинен и Виленкин. Большевики отводят ему в деле второе вслед за Савинковым ответственное место, — лица, заведывавшего кавалерийскими частями в организации. Но, кроме того, для ЧК в то время было очень важно установить, связь деятелей Союза Защиты Родины и Свободы с иностранными

миссиями, и в первую очередь с англичанами. О Савинкове они пишут, что он одно время укрывался в английском консульстве в Москве. Относительно Виленкина обвинение Красной Книги звучит полнее и отчетливее: «Начальник кавалерийских частей и казначей Союза Защиты Родины и Революции, Виленкин состоял юрис-консулом английского представительства. Через него и снабжалась деньгами военная организация. Источник, очевидно, английский»...

Напрасно было бы искать в документах и материалах Красной Книги каких-нибудь конкретных обвинений, уличающих Виленкина. Эти материалы до преступности небрежны и не дают никаких оснований для ответа на вопросы: действительно ли Виленкин состоял в организации, притом на таких ролях; действительно ли он был связан с английским представительством; действительно ли он финансировал антибольшевистскую военную организацию. Три допроса Виленкина и приведенные его показания даже странным образом не касаются этих роковых для его судьбы и решающих вопросов.

Красная Книга вообще в рассказе о Союзе довольствуется общей характеристикой его деятельности. При этом получается весьма яркая картина, свидетельствующая о том, в каком состоянии развала находился в 1918 г. аппарат советской власти. Белые офицеры начинают весьма ловко устраиваться в советских учреждениях. Они приобретают осведомителя в Кремле в кругу Совнаркома из близко к нему стоящих лиц. Они захватили в свои руки всю военную контр-разведку в Центральной России, на Украине и в Прибалтийском крае. Они устраиваются в Московской продовольственной милиции, обеспечивая себе, таким образом, легальность и даже оружие. Намечается тенденция проникнуть на командные посты в Красной Армии. В этих условиях захватить советские учреждения и даже арестовать Совнарком представлялось делом нетрудным. Единственные причины, побудившие белых отказаться от

этого плана, ззключались в том, что в Москве было продержаться труднее, чем в провинции и что к тому же ожидалась оккупация Москвы немцами. Слухи о предстоящей оккупации заставили перенести штаб Союза в Казань. Часть московского и казанского штабов была арестована ВЧК.

3

Надо сказать, что показания Виленкина даже в той, несомненно, неполной форме, в какой они приведены большевиками, выгодно отличаются от показаний других привлеченных по делу офицерской организации. Обычный тип показаний — это сообщение имен, фактов, — при этом почти полное отсутствие таких данных, которые давали бы представление о мировоззрении, о политических идеях или настроениях жертв большевистского террора. Многие путают в своих показаниях, иногда оговаривают, обнаруживают полную беспомощность и дезориентированность в положении. Быть может, боязнь перед предстоящей карой сковывала уста. Или ЧК, предрешивши свой приговор, абсолютно не интересовалась политической физиономией своих пленников и старалась выпытать у них только имена и адреса. Наконец, среди арестованных и среди расстрелянных был огромный процент зеленой молодежи, ненавидевшей большевиков, но чуждой в то же время вопросов политики. Виленкин в этой среде заметно выделялся.

— «В настоящий момент, — показывал Виленкин перед лицом Дзержинского и других руководителей ЧК в одну из ночей 1918 г., — я твердо считаю, что спасение и родины и революции заключается не в работе отдельной организации или партии, а в единении всех демократических живых сил страны». — Так он формулировал свое политическое кредо. Но он не скрыл и своего отрицательного отношения к

внешней политике большевиков, к заключенному ими похабному миру в Брест-Литовске. «Я постоянно проповедывал необходимость воссоздания армии для спасения России от немцев, особенно после отпадения Украины и Дона». Вероятно, под влиянием уличающих материалов, которыми располагала ЧК, Виленкин должен был сознаться в том, что поддерживал связи с общественными элементами. «Я устраивал у себя для себя же встречи с представителями различных общественных групп, — говорит он в своих показаниях. — Главный предмет собеседования — информация, в основе коей лежала твердая уверенность моя в несвоевременности выступления против советской власти и боязнь еврейских погромов в случае переворота».

Неожиданно прозвучала эта еврейская нота в показаниях Виленкина, своеобразно окрашивая собой его деятельность в последние месяцы его жизни. Оказывается, он состоял председателем Московского союза евреев-воинов, работал в нем преимущественно в финансовой комиссии. Он же организовал и председательствовал на Всер. съезде евреев-воинов. Свои связи в офицерских кругах и свой интерес ко всяким организациям он объяснял, главным образом, желанием быть в курсе возможных подготовлений к еврейским погромам. Он говорит в своих показаниях, что узнал о существовании весьма правых организаций, ведущих погромную агитацию преимущественно у церквей и явно ориентирующихся в сторону немцев. И вот эти моменты особенно тревожили Виленкина.

«Осень 1918 г. была самым бурным периодом в работе ВЧК. Сотрудники не успевали справляться с чисткой городов и деревень от явно контр-революционного элемента, поднявшего голову и приступившего к активным действиям. Это было время, когда приходилось «рубить с плеча» и не считать ни своих жертв, ни трофеев», — так подводят итоги составители Красной Книги своей чекистской работе

на заре красного террора. Да, они не склонны были к сентиментам. Нож гильотины пощады не знал и работал без устали, не разбирая ни правых, ни виноватых. Жертвы были бесчисленны. Их просто не считали.

4

Как передают, — хотя вряд ли это поддается проверке, — по делу Союза Защиты Родины и Свободы были сотни расстрелянных, а не 18. Ведь к этому делу привлечены были представители офицерства во всех городах, где ожидались и где состоялись восстания, — и где недреманное око ЧК обнаруживало малейшие признаки подготовки восстаний. Ведь почти все русские офицеры в 1918 г. сплошь заполняли тюрьмы и застенки ЧК. Но надобно отметить, что Виленкина не было среди расстрелянных в период непосредственной ликвидации восстаний и непосредственной расправы с офицерами. После долгого заключения в ЧК, после ряда мучительных ночных допросов, которые вели чекисты Дзержинский, Петерс, Лацис, — его не расстреляли, а отправили в Таганскую тюрьму. Правда, два раза его вызывали из тюрьмы в ВЧК и томили там неделями на допросах, — но все же в живых доставляли назад в Таганскую одиночную тюрьму. И, быть может, висевший над его головой Дамоклов меч так и не опустился бы, — если бы не случилось — уже в сентябре 1918 г. — убийства Урицкого, покушения на Ленина. Тогда красный террор, как дикий зверь, был спущен с цепи и стал заливать кровью всю страну. Тогда был расстрелян Виленкин.

Но, — говорят, что не за предполагаемую принадлежность к офицерской организации, а за попытку к побегу из тюрьмы был расстрелян Виленкин. Сидевшие в Таганской тюрьме в тот период рассказывают, что в сентябрьские дни прибыл автомобиль к тюрьме из ВЧК с ордером на Виленкина и его со-

седа по камере офицера Лопухина. Дело было обычное, и начальник тюрьмы распорядился их вывести из камеры. Но в последнюю минуту стал проверять подлинность ордера, — и обнаружил подлог. Автомобиль ускакал, — но тотчас же его сменил другой автомобиль, — уже действительно из ВЧК, — и увез навсегда из мира живых Виленкина и Лопухина.

В Красной Книге имена обоих приведены в списке 18. Но в «Известиях», в оффициальном органе советов, они были опубликованы среди совсем других имен, в ряду других многочисленных жертв красного террора.

Кто пытался спасти Виленкина от роковой его судьбы и организовал ему побег из тюрьмы, — конечно, неизвестно. Говорят, что это были его друзья и товарищи по союзу евреев-воинов.

ОГЛАВЛЕНИЕ